

Дневник Обдорского миссионера

Содержание

- Часть 1. Похороны в лодке
- Часть 2. Об иконе Николая Чудотворца
- Часть 3. Отпевание покойника
- Часть 4. История с гусиным пером
- Часть 5. Ярмарка
- Часть 6. Буран
- Часть 7. У шамана
- Часть 8. Халмеры
- Часть 9. На Оби
- Часть 10. В долине реки Надым
- Часть 11. День в остяцкой юрте
- Часть 12. В Обдорском городке
- Часть 13. У старого остяка
- Часть 14. У рогов
- Часть 15. В самоедском чуме
- Часть 16. Елка
- Часть 17. У ворожея
- Часть 18. Самоедская свадьба
- Часть 19. Зимой в тундре
- Часть 20. Осенью в Обдорске

Иван Семенович Шемановский родился в 1873 году в г. Бела Соколовского уезда Седлецкой губернии (территория современной Польши) 28 января (по старому стилю) в семье потомственных дворян. Он рано остался круглым сиротой и так же, как большинство дворянских детей-сирот, получил образование в Императорском Гатчинском Николаевском сиротском институте, который успешно окончил в 1892 году. Трудно сказать, что направило этого блестяще образованного, знающего несколько иностранных языков человека на религиозное поприще. Скорей всего то, что он был гуманистом по природе и считал, что путем миссионерства, благотворительности, просветительской деятельности можно принести пользу обществу, в том числе «приобщить инородцев Крайнего Севера к культуре». В 1897 году он завершил учебу в Новгородской духовной академии (семинарии) и 5 октября того же года Антонием, епископом Чебоксарским, был пострижен в монахи с именем Иринарха, а уже 13 октября согласно собственному прошению был определен членом Обдорской миссии. На следующий день епископ Чебоксарский возвел его в чин иеродиакона, а 17-го - в чин иеромонаха.

5 марта 1898 года о. Иринарх был назначен исполняющим должность настоятеля Обдорской миссии, но лишь в апреле прибыл в волостное село Обдорск Березовского уезда Тобольской губернии. В то время это была глубокая провинция, затерянная на краю великой державы. Как говорили тогда тоболяки: «Обдорск стоит на краю света, дальше его на семь верст уже начинается ад...».

Отец Иринарх сразу же активно включился в работу миссии, и это не осталось незамеченным. Уже 9-го июля он был награжден набедренником, и Преосвященнейший Антоний, епископ Тобольский и Сибирский, объявил ему благодарность за улучшение постановки миссионерского дела в Обдорской миссии.

Вскоре после прибытия в Обдорск, в августе 1898 года, на личные средства он создал библиотеку для удовлетворения нужд миссии. «Библиотека есть наилучший

памятник больших трудов и издержек из собственных средств отца игумена Иринарха», - писал обдорский священник Гурий Михайлов. Из года в год библиотека пополнялась новыми изданиями, книгами, рукописями на русском и иностранном языках, преимущественно имеющих отношение к Тобольской епархии, и особенно к ее северо-западной окраине. Весьма ценным для библиотеки был дар Финно-угорского общества, которое в 1901 году прислало издания об инородческих племенах, родственных аборигенам Обдорского края. Всего за три года существования библиотеки в ее фонде имелось 618 книг на сумму 840 руб. 63 коп.

По инициативе о. Иринарха в 1904 году было создано Обдорское миссионерское Братство во имя святого Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца. Председателем Совета Братства был выбран настоятель Обдорской миссии - отец Иринарх.

Обдорская миссия, желая оказать Братству содействие в деле «духовно-просветительном», предложила принять находящуюся в ее ведении миссионерскую библиотеку. Было решено разместить ее в бывшей лавке купца, старосты миссионерской церкви В. А. Оленева, который незадолго до смерти завещал часть своих построек Обдорской миссии. Имущество библиотеки составляли 677 названий книг в 1192 томах.

«Деятельность братства, помимо духовно-просветительной, заключалась в организации ремесел при училище специальной переплетной мастерской; привитии обдорским инородцам оспы; опеки малолетних и сирот из инородцев; открытии книжной и иконной лавки и церковно-миссионерской библиотеки. Библиотека миссии довольно значительная, тут же помещается детская библиотека, заключающая в себе 286 названий», - писал действительный член Императорского русского географического общества А. А. Дунин-Иржавич, который побывал летом 1907 года в Обдорске и лично ознакомился с различными учреждениями миссии.

Специальная комиссия выработала «Правила для церковно-миссионерской библиотеки Обдорского Миссионерского Братства во имя св. Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского Чудотворца», состоящие из 42 параграфов. Правила были отпечатаны в количестве 300 экземпляров небольшими брошюрками. Обращают на себя внимание некоторые пункты правил.

«№ 2, 4. Библиотека носит церковно-миссионерский характер, включает в себя отделы по сибиреведению и специальный - о Севере России.

№ 5. Пополняется и содержится библиотека добровольно пожертвованными книгами и деньгами и на 50 рублей, ежегодно ассигнуемыми из Обдорской миссионерской церкви.

№ 6. Братство ссужает деньгами библиотеку займы без уплаты процентов.

№ 10, № 11. Заведуют библиотекой три библиотекаря из членов Братства и один наемный помощник.

№ 16. Для рассмотрения вопросов о выписке книг, журналов и газет при библиотеке существует особая комиссия из десяти членов Братства.

№ 20, № 21. Право пользования библиотекой представляется как членам Братства, так и сторонним лицам, вносящим установленные членские взносы для абонементов 1-го разряда - 3 рубля, 2-го разряда - 1,50 руб., 3-го разряда - 75 коп. и 4-го разряда - 35 коп. в год.

№ 25, № 26. Инородцы приобретают право пользования библиотекой при уплате половины стоимости абонентных взносов, а ученые путешественники - бесплатно»

Библиотека при Братстве была открыта 1-го июня 1904 года, в летнее время выдача книг из нее производилась бесплатно. Обдорское общество встретило открытие библиотеки с сочувствием, и на ее нужды стали поступать пожертвования как книгами, так и деньгами.

За плодотворную миссионерскую деятельность 20 мая 1905 года о. Иринарх определением Святейшего Синода от 7 апреля 1905 года был возведен в сан игумена Преосвященным Антонием, епископом Тобольским и Сибирским.

Члены Братства заботились об улучшении качественного состава библиотеки. Так, в НИОБ году на средства подписчиков в рассрочку на 4 года был выписан Большой энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Периодических журналов выписывалось (И наименования. Благодаря ходатайству профессора Московского университета Б. М. Житкова Императорское русское географическое общество в 1908 году пожертвовало библиотеке многие из своих изданий.

Самым ценным в библиотеке был Северный отдел. В 1907 году, например, в этом отделе насчитывалось различных книг и рукописей о Севере - 183, а вместе с журнальными и газетными статьями - свыше 500 названий. В 1910 году в Тобольске был издан каталог книг Северного отдела этой библиотеки, составленный отцом Иринархом. Шемановский писал в 1907 году: «Литература о Севере продолжает пополняться путем покупки ценных изданий у антиквариетов. Отдавая доминирующее значение отделу о Тобольском севере, библиотека Братства заключает в себе и много других отделов... Библиотека при наличии богатых материалов об Обдорских инородцах, вводит читателей в новый для них мир жизни северных номадов, обрисовывает душевные запросы их, простые, но цельные, раскрывает все их святое, отеческое, научает благожеланию инородцам, призывает их к помощи им, попечению о них, располагает к защите их, к любви к ним...»

Кроме обдорских обывателей библиотекой пользовались ученые, путешественники, побывавшие на Тобольском севере. «Лингвисты венгерец И. Папай (настоящее имя И. Папай) и финляндец Г.А. Карьялайнен, - вспоминал в 1907 году. о. Иринарх, - пользовались пять и более лет тому назад литературой нашей библиотеки и признали ее значительной..» В 1908 году в числе почетных посетителей значились следующие лица: Антоний, епископ Тобольский и Сибирский, начальник Карской экспедиции геолог О. О. Баклунд, члены Карской экспедиции: зоолог Ф. А. Зайцев, ботаник В. П. Сукачев, полковник Топографического отделения ген. штаба И. А. Григорьев, командированный Русским музеем антрополог С. И. Руденко и другие.

В 1910 году в фонде библиотеки было 5000 томов. К сожалению, не весь этот фонд дошел до нашего времени, но даже и то, что сохранилось, представляет собой большую ценность. Как и сто лет назад, книгами из библиотеки музея пользуются ученые и путешественники и, конечно, студенты, учителя, школьники, краеведы, то есть все те, кто интересуется нашим краем.

Литературы было собрано достаточно, чтобы удовлетворить всех «интересующихся инородческим вопросом». Но чтобы этот интерес не ослабевал, необходимо было предпринять что-то особое. «Труды по этнографии инородцев Тобольского Севера, составленные разными учеными и путешественниками, не дают впечатлений цельных и сильных вследствие многих недостатков в работах и часто односторонности суждений». И председатель Братства предложил обсудить вопрос об открытии музея, «чтобы дать возможность человеку незнающему самому судить и пополнять свои сведения об инородцах, а хорошо знающему - делиться своими знаниями... Изучение жизни инородцев, поскольку необходимо оно для миссионерских целей Обдорской миссии и Обдорского Братства св. Гурия, диктует требование, ради наивернейшего успеха изучающих жизнь и быт инородцев Севера, дать им возможность не тратить непроизводительно время, из сферы предположений и фантазий переходить в область действительности и фактов. Эта задача может быть осуществима Братством путем предоставления желающим возможности заниматься изучением жизни и быта инородцев наглядным способом. Устройство Хранилища коллекций по этнографии инородцев Тобольского Севера при Братстве осуществит эти пожелания».

Гак, в 1906 году был создан первый музей не только в Обдорском крае, но и во всем Березовском уезде.

Библиотека и музей были одними из главных дел игумена Иринарха. Он постоянно упоминал их в ежегодных отчетах Обдорского миссионерского Братства во имя святого Гурия, посвящал им много печатных трудов, опубликованных в журнале «Православный благовестник». По словам обдорянина Н. Г. Сосунова, «Шемановский непосильными трудами создал вечную гордость Обдорска - музей и библиотеку».

Исключительно для инородческих детей школьного возраста в 1898 году был открыт при Обдорской миссии инородческий пансион со школой. В основном там учились дети бедняков и сироты. Средств на содержание инородческого пансиона не хватало, и о. Иринарх вкладывал свои собственные сбережения. В одном из писем в Тобольскую епархию он сообщает: «Как и в прошлом году, так и ныне для Обдорского края весна принесла много бедствий через распространение в тундре скарлатины, унесшей на тот свет весьма много жертв. Скарлатина не оставила своим посещением в мае месяце и миссионерский приют, в котором переохворала добрая половина ребятишек. За больными ухаживал я сам и, изолированный от здоровых, провел весь месяц один-одинешенек в затворе с болящими, кои - благодарение Богу - оправились от хворости благополучно. Осенью рассчитываю быть в Тобольске, (так как приют в этом году уже успел поглотить полторы тысячи рублей при наличности субсидии в 450 р.), чтобы исходатайствовать еще небольшое пособие, ибо в противном случае придется вложить все свое жалованье на воспитание детей и еще сделать долгу в несколько сот рублей, что для меня очень накладно».

Старания отца Иринарха не остались незамеченными - 22 февраля 1899 года ему было преподано благославление Святейшего Синода с выдачей грамоты «за пожертвование на содержание 12 инородческих детей».

«За отлично-усердную службу по духовному ведомству» отец Иринарх был награжден 12 июня 1901 года наперсным крестом.

Немало учеников воспитал и выучил отец Иринарх, впоследствии они добрым словом вспоминали своего наставника. Было среди них и много одаренных детей, и том числе Иван Федорович Ного - первый ненецкий драматург, автор известных пьес «Ваули» и «Шаман», видный общественный деятель нашего края, а также И. К. Хатанзеев - будущий педагог, первый в нашем округе заслуженный учитель школы РСФСР, автор первых учебников на языке ханты. «Иринарха забыть трудно, - вспоминал позднее Петр Ефимович. - Личность яркая. Высокий, сильный. Полосы до плеч. Золотой крест на груди. Голос - нечто среднее между басом и баритоном. Сочный, внуши тельный, поставлен хорошо. Строгое, худошавое лицо. Орлиный нос. Прямой пронизательный взгляд темных глаз. Тип мыслителя. Приветливый был... И справедливый».

Все годы, которые провел И. С. Шемановский на Севере, он стремился как можно больше узнать о жизни инородцев, понять их мысли и чувства, изучал их язык и своеобразную культуру. Уже вскоре после приезда в Обдорск он пишет в своем дневнике:

«Я бессилён в своем воздействии на самоедов, доколе не ознакомлюсь с их жизнью не по книгам, а на деле, пока не приспособлюсь к их жизни и не научусь мыслить их языком. Без этого я для самоедов ничто, а это без любви к ним недостижимо».

В Обдорской миссии существовали две походные церкви, с которыми о. Иринарху приходилось много странствовать по тундрам громадного края - зимой на нартах или саях, летом на лодке. Он попадал в шторм на Оби, чуть не погиб во время бурана, ночевал в самоедских чумах и остяцких юртах, посещал рыболовецкие пески рыбопромышленников. Во время своих путешествий Иван Семенович собирал экспонаты для созданного им в Обдорске музея; кроме походного журнала, где отражалась вся его миссионерская деятельность, вел дневники, и которых он записывал дорожные впечатления, делал этнографические заметки, описывал интересные встречи, размышлял о жизни инородцев. Вот как он рассуждал в одной из дневниковых записей: «...Нельзя,

думалось мне, оказывать влияние на людей, образ жизни которых нам чужд, обычаи неизвестны, миропонимание неведомо, - на которых мы смотрим свысока, до которых только допускаем себя снисходить, ознакомление с языком, жизнью, обычаями и верованиями которых считаем ниже своего достоинства. Неудивительно, что эти люди дичатся нас и представляются чуть не вдвойне дикими. За глаза они над нами смеются. И имеют для этого основания. Ведь по-своему они считают себя культурными, нас же дикарями. Они видят в нас говорунов и болтунов, мало что умеющих создавать и делать, тогда как они успели на севере создать и сделать многое... научились жить с возможными при кочевом образе жизни удобствами...»

Наряду с обрядами крещения инородцев и чтения миссионерских проповедей отец Иринарх искал и находил места для новых миссионерских станов. Так, в 1899 году был устроен миссионерский стан в Хэ - конечном населенном пункте, лежащем на правом берегу Надымской

Оби, почти в 300 верстах от Обдорска. Открытие этого миссионерского стана явилось выдающимся событием в жизни миссии, потому что он был расположен на пути следования инородцев как в Обдорск, так и на реку Полуй. Кроме того, через Хэ направлялись в Обдорск на ярмарку низовые самоеды, каменные самоеды с полуострова Ямал и надымские остяки.

При отце Иринархе был заново перестроен и в 1904 году освящен миссионерский храм (в советское время он был закрыт, потом в этом здании расположилась типография, после пожара на этом месте был построен речной вокзал, который в настоящее время снесен).

Организовывает он и приезд в Обдорск из Вировской обители (Польша) пяти монахинь, знакомых с лечением больных, с живописными переплетными ремеслами, а главным образом, незаменимых в качестве воспитательниц миссионерского пансиона и приюта. С их приездом были устроены в 1906 году при Обдорской миссии инородческая больница с небольшой аптекой, заведование которой лежало на одной из монахинь, и богадельня для престарелых инородцев, которая также легла на их попечение. На нужды этих учреждений отец Иринарх также отдавал свои средства и сбережения.

Хотелось бы отметить еще один род занятий И. С. Шемановского. По рекомендации Л. Л. Дунииа-Горкавича он решил устроить в Обдорске огород, для его обработки был даже приобретен железный плуг «Шнарцгофа» и простая крестьянская борона, а для сенокосения сенокосилка и грабли с точилом «Диринга». И саду были посажены цветы, небольшая грядка огородных овощей и сделано нечто вроде парника.

«Я летом этого года, - писал он в 1907 году, - сделал опыты посадки в Обдорске и грядках свеклы, репы, брюквы, моркови, картошки и капусты. Все посаженное выросло до нормальных размеров к 1 августа, кроме капусты, ушедшей в лист. Этот опыт как меня заинтересовал, что я выписал разные сельскохозяйственные инструменты и в лето следующего 1908 года произведу опыты посевов овощей в размерах более значительных. В устроенном мною единственном в Обдорске саду прекрасно растут разные садовые цветы, только не успевают обсемениться...»

И. С. Шемановский вел обширную переписку с учеными, научными учреждениями, помогал в сборе материалов путешественникам и исследователям Севера, оказал немалую помощь экспедиции Императорского русского географического общества под руководством профессора Московского университета Бориса Михайловича Житкова на полуостров Ямал с исследовательскими целями (1908 г.).

«В Обдорске горячее и ценное участие в судьбе экспедиции при первом же известии о ней принял начальник Обдорской миссии, игумен Иринарх, отдавший более 10 лет своей жизни широкой просветительной деятельности в глухом Обдорском краю, - писал Б. М. Житков в своей книге "Полуостров Ямал". - Ему наше предприятие обязано и сложными предварительными сношениями, и организацией сбора коллекций в Обдорске и на нижней Оби, и разнообразными материальными жертвами».

Как уже отмечалось выше, И. С. Шемановский вел дневники, результатом обработки которых явилась серия очерков, которые он объединил под общим названием «Из дневника Обдорского миссионера». Они были изданы в «Православном благовестнике» в 1903-1905 гг. Позднее, в 1907-1911 гг. в том же журнале вышла серия путевых заметок «В дебрях крайнего северо-запада Сибири».

В «Православном благовестнике» за 1911-1916 гг. был опубликован большой исторический труд И. С. Шемановского «Хронологический обзор достопамятных событий в Березовском крае Тобольской губернии, 1032-1910 гг.», в состав которого входила тогда и наша Обдорская волость. Здесь он показал себя как незаурядный исследователь. Скорей всего, это произошло после изучения им книги И. В. Щеглова «Хронологический перечень важнейших дат из истории Сибири, 1032-1882 гг.», изданной в Иркутске в 1883 году. На этого автора он часто ссылается в своей работе, а также на труды сибирских историков: Г. Ф. Миллера, И. Е. Фишера, П. А. Словцова и др. Кроме того, Шемановский использовал записки, отчеты ученых, путешественников, побывавших на Тобольском Севере: А. В. Оксенова, К. Д. Носилова, П. М. Буцинского, Б. М. Житкова, Ю. И. Кушелевского, А. А. Дунина-Горкавича, Н. А. Абрамова, И. М. Ядринцева, И. Папай и многих других.

Созданию «Хронологического обзора...» предшествовал определенный опыт, приобретенный им при описании полувековой деятельности Обдорской духовной миссии, которое также было напечатано в «Православном благовестнике» в 1904-1906 гг. Кроме перечисленных работ у И. С. Шемановского вышло в этом журнале немало других статей на различные темы: «К вопросу об организации школьного дела среди кочевников» (1904), «Справка о народе "Нях-самар-ях"» (1904), «Экспедиция на полуостров Ямал» (1908), «Чем объяснить почитание инородцами крайнего северо-запада Сибири иконы Николая чудотворца» (1909) и др. Это характеризует его как одаренного, неравнодушного, разностороннего человека.

23 октября 1910 года вышел приказ Святейшего Синода о перемещении игумена Иринарха на должность Тверского епархиального миссионера-проповедника согласно его прошению о переводе. Но мнение начальства о нем остается очень высоким, что видно хотя бы из секретного рапорта березовского уездного исправника тобольскому губернатору от 26 марта 1913 года (ТФ ГАТО, ф. 158, оп. 87, д. 157, л. 7-8)

«...В бытность настоятелем Миссии игумена Иринарха... Миссия поднята им была на должную высоту и обогатилась многими миссионерскими учреждениями. Игумен Иринарх своим благотворным влиянием на все окружающее население привлек к миссии массу лиц, сочувствующих делу просвещения инородцев...»

Отец Иринарх переезжает в Тверь, но тоска по Северу гложет его. В архиве города Твери хранятся дневники отца Иринарха. Приведем только некоторые выдержки на них: "Я хотел бы продолжить свое служение в Обдорске и дальше, пока хватит сил. Но, к моему искреннему сожалению, желанию не суждено было осуществиться. Дело, которому я служил как собственному, в служении ему я находил для себя вдохновение, радость, счастье, и, уходя из Обдорска, я оставляю часть своего "я". Не проходит и дня, чтобы не вспоминал свою вторую Родину - Обдорск... Мое душевное желание - скорее вернуться в Азию из Европейской России, в которую так недавно перебрался и из которой стремится душа моя скорее уйти. Уезжая из Азии, я пытался отдохнуть после 13 лет безвыездной жизни на далекой окраине. Здесь я понял глупость своего перевода, мне хотелось бы вернуться.. Продолжаю интересоваться Тобольским Севером, который, кажется, напрасно покинул... 13 лучших по идейности лет провел я в Обдорске, там, под Полярным кругом...».

В Твери он продолжал свою миссионерскую деятельность, много времени уделял научной работе, занимался изучением раскола, обрабатывал материал, собранный им еще в Обдорске, поддерживал переписку с Б. М. Житковым, помогая ему в работе над сборником ненецких легенд и сказок, вел переписку с жителями Обдорска. Вот что писал,

например, учитель миссионерской школы Охранов: «Не перечить всех Ваших заслуг, живя много лет рядом с Вами и на одном поле деятельности... Отъезд Ваш чувствительно поразил нас, мы лишились истинного отца, наставника, со нетчика и доброго друга» (Архив г. Твери, ф. 103, оп. 103—1, д. 2659, л. 1123).

И снова отец Иринарх пишет прошение - теперь уже об отправке его обратно в Азию. Вот что говорится в представлении Антония, архиепископа Тверского и Кашинского, Святейшему Синоду: «Игумен Иринарх, лично мне давно известный, имеет особое призвание к миссионерской деятельности, его свыше 12-летняя миссионерская деятельность сделала его опытным миссионером». Надо сказать, что архиепископ Антоний в течение 12 лет начиная с 1897 года служил в Тобольской епархии. За это время он четыре раза побывал в Обдорске и прекрасно был осведомлен о деятельности отца Иринарха.

Известно, что весной 1912 года о. Иринарх отправился на Дальний Восток и возглавлял Корейскую миссию Владивостокской епархии. «Буду согласен работать в Корейской миссии, - говорил он. - Все будет сродней...» В Сеуле настоятелю Корейской Православной миссии архимандриту о. Иринарху была вручена награда за труды тверского периода - орден святой Анны III степени.

К сожалению, сохранившиеся дневники заканчиваются записью 1912 года. Мы более подробно знаем об обдорском периоде жизни Шемановского, но далеко не все о последующей биографии. Несколько лет сотрудники музея вели поисковую работу, по крупицам восстанавливая картину жизни этого замечательного человека, но до сих пор еще многое неизвестно. Велась обширная переписка, искали и находили людей, знавших его лично, ездили в командировки, обращались в различные учреждения и организации, направляли записки в музеи и архивы многих городов страны. По словам П. В. Кулагина, который в первые годы Советской власти принимал участие в борьбе с контрреволюцией и Средней Азии и лично знал Шемановского, 1917 год Шемановский встретил в качестве настоятеля Свято-Троицкого монастыря в Иссык-Куле, в Киргизии. Государственный архив Иссык-Кульской области в г. Пржевальске прислал подробную справку о Свято-Троицком монастыре, но среди священнослужителей сведений об Иринархе (Шемановском) нет. Но П. В. Кулагин утверждал, что в одной из местных большевистских газет было сообщено, что вскоре после революции, во время торжественного богослужения отец Иринарх отрекся от церкви. Он переходит на сторону большевиков и становится одним из борцов за Советскую власть. Шемановский возглавил газету «Голос пролетариата», вел агитационно-пропагандистскую работу, выступал с лекциями, живыми, злободневными статьями, которые привлекали читателей, что неудивительно, так как бывший проповедник-миссионер обладал даром слова, умел привлечь людей. Очень часто он подписывал свои статьи псевдонимами. Их было несколько, но наиболее частым среди них был «Шаман Обский». Это созвучно подлинной фамилии автора и, видимо, напоминало ему о жизни на Севере.

Кое-кто из сотрудников газеты опасался за идейный уровень пропагандистской работы Шемановского, не мог простить ему принадлежности к церкви в прошлом, сомневался в нем как в настоящем коммунисте, а иногда и прямо причислял к провокаторам. Они писали в центральные органы о своих сомнениях, подтасовывали факты. Во время партийного суда друзья-соратники поддержали Ивана Семеновича и помогли преодолеть все подозрения. Он был оправдан.

В конце 1920 года Шемановский был отозван из газеты и направлен зав. агитационно-просветительским отделом комиссариата Пржевальского уезда, затем крайком партии Туркестана отозвал его в Ташкент, а оттуда он был отправлен в Джамбул для организации коммуны «Новая Эра». В музее хранится копия статьи «Современное пугало - коммуна», где Шемановский выражает надежду, что только общими усилиями можно преодолеть невзгоды людей. Для него коммуна - «светлый центр, где должно быть обретено истинное счастье для всего человечества... Она одна может сделать человека

счастливым в полном, возможном на подлунной планете, объеме». Мысли о всеобщем равенстве и братстве, которые привели Шемановского в ряды коммунистов, к сожалению, остались только мечтой.

С документальными материалами, обнаруженными в ходе поиска, можно познакомиться в ЯНОМВК. Это партийные документы Шемановского, его анкетные данные, послужной список, удостоверения, мандаты и другие документы, подтверждающие отречение отца Иринарха от церкви и наложение на него проклятия Епархиальным Советом Туркестана.

Точная дата его смерти неизвестна. По одним сведениям, его жизнь оборвалась в боях Гражданской войны в 1922-1923 гг. По другим - Шемановский умер в Днепропетровске приблизительно в 1936 году.

Уверена, что Иван Семенович Шемановский был незаурядной личностью - искренне верящий в то, что он делал, ошибающийся, как и все грешные, увлекающийся, верящий в разум человеческий, пытающийся делать и сделавший много доброго в своей непростой, противоречивой жизни. За время своей деятельности в Обдорске он оставил заметный след в жизни края. Его ученики воспитали своих учеников. Живы его библиотека и музей. О том, что его помнят и чтят, говорит хотя бы тот факт, что в 1996 году, когда отмечался 90-летний юбилей Ямало-Ненецкого окружного краеведческого музея, этому учреждению было присвоено имя И. С. Шемановского. Эта книга также дань памяти просветителю-гуманисту.

Старший научный сотрудник ГУ «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского» Л. Ф. Липатова

Часть 1. Похороны в лодке

Утомленный дневными трудами по отправлению богослужения, требоисправлений и другими многообразными хлопотами, я уже закрыл двери своих келий, когда раздался робкий стук в окошко. Впустив позднего посетителя-остяка, я удивился его необычно озабоченному состоянию и начал с участием расспрашивать о причине его прихода.

- Батька, покойник есть, хоронить надо!
- Кто такой?
- Жена пропала, хоронить надо.
- Когда умерла, где и отчего?
- В Обдорске умерла, стражник к тебе послал.

Желая утешить беднягу в его горе, говорю: «Что же, в жизни и смерти Бог волен. Он все к лучшему делает: отнимает жизнь, значит, так надо для покойного...»

- Жалко, молодая, - нетерпеливо перебил меня остяк, - когда хоронить будешь?
- А гроб сделан, могила готова?
- Могилу роют, на гроб досок надо, денег нет. Свечку надо - темно...

Я принес остяку стеариновую свечку и написал записку к одному торгующему знакомцу об отпуске подателю ее в мой счет потребных для гроба тесин.

Бедняга, взяв от меня то и другое, медленно пошел к двери. Подойдя, повернулся и неуверенным голосом спросил: «А в лодке хоронить худо?» Зная, что остяки уклоняются от предания земле своих покойников по православному обряду, предпочитая ему свои старинные языческие церемонии, и поняв, что он не добровольно обратился ко мне, я с живостью ответил, что в лодке также хорошо хоронить. Остяк возвратил мне записку и с просиявшим лицом вышел, а я с грустью начал размышлять о странном отношении к христианству этих крещеных полудикарей, духовно просвещать которых я призван.

И стали мне припоминаться первые мои поездки к крещеным осякам. Живо начало воскресать в памяти трогавшее меня тогда добродушие осяков, их внимательное отношение к моим словам о вере и богоугодной жизни. Припомнилось, с каким наружно искренним доверием они поддакивали мне во время бесед, как старались обнаружить свою веру в Бога, кланяясь перед иконами и крестясь. С каким неподдельным недоумением смотрели на меня, когда я начинал говорить о душевной пагубности их обращений к шаманам и ворожке по обрядам этой так называемой черной веры. Длинной вереницей потянулись эти воспоминания, и чем больше я отдавался им, тем напряженнее работала моя мысль в этом направлении и с большей ясностью вставали предо мною многие уже начавшие было забываться подробности.

Но вот начали припоминаться и первые чувства печали, грусти и даже ужаса от последовавшего, при дальнейшем знакомстве, моего разочарования в этих, так трогавших меня, «пасынках природы». Стали быстро восстанавливаться в памяти мои душевные страдания от первых открытий обмана и лжи в этих с виду запуганных и тихих, искренних и сердечных людях, под личиной доброты и добродушия. Припомнилось мне, как я не хотел верить этому, с какой душевной борьбой примирялся с печальной действительностью. Под влиянием охвативших меня чувств я, ходя по комнате, начал разбираться в подмеченных мною ненормальных отношениях моей бедной паствы к христианству.

Почти все крещеные «по обетам» русскому Богу, а дети по воле родителей, осяки полагают неременным долгом крестить своих детей в младенческом возрасте. Именуя себя христианами, или попросту «крещеными ставят себе в необходимость хоть изредка заходить в православный храм помолиться пред образом св. Николая, почитают обязанностью носить на себе шейный крест, считают нужным иметь в своих домах иконы и с видимым вниманием слушают наставления в истинах святой веры пастырей-миссионеров. Но в то же время они всячески избегают похорон своих сородичей по православному обряду, уклоняются от венчания браков, опускают исполнение долга исповеди в грехах и принятия святых тайн, не гнушаются шаманских молений и во всех выходящих из нормы обыденной жизни случаях обращаются к шаманам, зачастую также называющих себя христианами. И что хуже всего, - тщательно скрывая свою приверженность к отцовской вере, всегда избегают собеседований с миссионерами по этому вопросу.

Раздумывая обо всем этом, я захотел теперь дать себе хотя бы слабое объяснение этому дикому и грубому двоеверию их. И я, отыскивая причины, напряженно думал. Я обратился к истории распространения в Березовском крае христианства. Перед мысленным моим взором предстал святитель Филофей Лещинский, по-праву считающийся первоапостолом Сибири. Вот он, старец, идет просвещать осяков. Испытывая все неудобства самых примитивных путей сообщения, он терпеливо переносит оскорбления язычников и с кротостью глядит на покушающихся его убить. Смирение святителя-старца трогает черствые сердца язычников, и они начинают внимать его словам, многие соглашаются креститься и с решительностью уничтожают истуканов. Эти обращения были искренни и чисты. В последующие путешествия митрополита Филофея к его просвещенной святою верою пастве он, по свидетельству историков, утешается добрыми плодами своих трудов. Его встречают крещеные и внимательно слушают наставления и поучения. Язычники начинают к нему относиться все с большим и большим миролюбием и обращения их учащаются.

Умер святитель Филофей, умерло и дело его. Лишь сто лет спустя, с 30-х годов XIX столетия начинаются попытки восстановить и продолжить то, что начато старцем-митрополитом. Но эти попытки не венчаются ни количественным, ни тем более качественным успехом обращений в святою веру язычников: теперь инородцы стали иными, хотя казалось, что ближайшее знакомство с русскими насельниками края должно

было ознакомить их с христианством, расположить их к нему. Причины этого печального явления понятны.

Вся история колонизации остяцкого края в XVIII столетии испещрена фактами вопиющих притеснений инородцев пришлыми людьми. Неудивительно поэтому, что разуверившиеся в русских остяки отшатнулись от них и вместе с этим и от русской веры, от христианства. Таким образом, вызванное историческим ходом развития колонизации края отчуждение инородцев парализовало возможность религиозно-нравственного влияния на них.

Правда, с 40-х годов XIX столетия остяки снова начали обращаться в христианство, но эти обращения их для обеспечения себя от мщения стали носить обетный характер, имеющий значение лишь в смысле отдачи себя чрез одно таинство крещения под покровительство «русского Бога». Размышляя об этом, я пытался объяснить себе причины, удерживающие остяков от сближения с русскими теперь. Мне думалось, что это отчуждение должно сглаживаться хотя бы потому, что они стали прибегать за помощью к «Богу русских».

Я стал ближе присматриваться к отношениям нынешних колонистов к остякам. И мне казалось, что тех гнусных несправедливостей к инородцам, какими был богат XVIII век, теперь не существует. Ненормальности в торговых сношениях настоящего времени, конечно, существуют, но они во всей совокупности их не могут всецело падать на колонистов, так как сами инородцы сплошь и рядом являются к ним причастными в своих сделках по обмену товарами с пришлыми людьми. Но я не мог не заметить при этом полного безучастия русских к остякам как к людям. Для них инородец только покупатель. Человеческое достоинство в нем не признается: он собака, потому что ест, пьет и спит с собаками, и «погань», потому что у него поганая вера.

Долгое и тяжелое размышление о современном отношении русского колониста к остяку привело меня к этому выводу. Мне было противно мириться с этим, и я захотел проверить себя впечатлениями туристов и исследователей края в последние десятилетия. Предо мною замелькали имена путешественников и ученых, с сочинениями которых я хорошо знаком, и я с грустью должен был убедиться, что мой вывод в общем тождественен с заключениями их. При таких воззрениях на инородцев понятно, что они, по необходимости входя в торговые сношения с колонистами, избегают других более близких сношений с ними и живут своей отдельной жизнью, очень мало, в сущности, известной пришельцам. Понятно, что для охранения своих верований от пренебрежительного отношения к ним христиан и даже нередко поругания они так замкнулись, что крайне редко кому постороннему удастся приподнять завесу этой скрытности остяков.

«После этого, - думал я, - что может сделать миссионер? Инородец боится сблизиться с ним, так как он русский, живет по-русски и дружит с русскими. И миссионеры, чувствуя свое бессилие влиять на остяков, подолгу в Обдорске не уживались. При составе миссии из трех священников в последние тридцать лет в ней перебивало ровно двадцать миссионеров!»

От сознания того, что между мною и моей инородческой паствой лежит созданное веками средостение, через которое перейти у меня не хватит сил, мне стало невыносимо тяжело. Мне захотелось забыться, перестать об этом думать, но я не мог - передуманное меня слишком беспокоило, встревожило, потрясло... И я, ходя по комнате, с тоскою думал о своем фальшивом положении... «А в лодке хоронить худо?» - вдруг припомнился мне сказанный неуверенным голосом вопрос недавнего моего посетителя, остяка. В этот момент озаренный, я на это воспоминание

громким голосом произнес свой недавний ответ остяку: «В лодке также хорошо хоронить». И мне с живостью припомнилось, как остяк, услышав позволение, прояснился...

Душевный гнет меня разом оставил, и у меня на сердце стало легко. Я увидел себя стоящим на том средостении, в возможности перешагнуть которое только что отчаивался. Я чувствовал теперь свою близость к одному из членов своей замкнутой полуязыческой паствы. И я начал обдумывать, как лучше использовать эту близость...

Наступил день похорон. Когда в церковь принесли покойницу, я служил утреню и потому не видел установки на катафалк гроба-лодки. По окончании этой службы я, вышедши из алтаря, в изумлении остановился.

В калыданной лодке (небольшая легкая лодочка для одного человека) с покойницей лежала такая масса одежды и домашней утвари, что она, обыкновенно не выше двух четвертей со всем содержимым в ней, оказалась больше аршина высоты. Я подошел к гробу. Остяк, тотчас же положив свою руку на мое плечо, сказал:

- Батька, не тронь.

Я его успокоил, и запуганно-истомленное лицо его прояснилось. Осмотрев наружный вид лодки с нарочито обрезанными носом и кормой, я начал служить литургию, по окончании которой совершил обряд отпевания.

По установившемся обычаю я собрался провожать покойницу на кладбище. Остяки было запротестовали, но я настоял на своем. Выйдя на паперть, я увидел приготовленную для покойницы нарту с лежащими на ней лыжами. Я молча наблюдал установку остяцкого «гроба», который крепко привязали к нарте с лыжами. Погребальное шествие тронулось.

Пришли на кладбище. Перед преданием земле я начал говорить поучение. Похвалив остяков за их веру в загробную жизнь, выражением чего служили их щедро принесенные покойнице утвари и одежды, я с особой любовью объяснял им истинный смысл вечной жизни. Остяки слушали меня с напряженным вниманием, без обычных поддакиваний, молча. С любовью к стоящим передо мной я разъяснял нелепость языческого обычая класть с покойником вовсе ненужные ему вещи, и они не смотрели на меня, как раньше, с недоумевающим видом, а тихо опустили головы вниз.

Предав покойницу земле и простившись с остяками, я возвращался домой довольный, радостный, счастливый, потому что, не оскорбив полуязычников-остяков, заставил их впервые отнестись сознательно к моему слову.

Часть 2. Об иконе Николая Чудотворца

В миссионерский храм шумно вошло большое самоедское семейство, состоящее из нескольких мужчин, женщин и детей. Шедший впереди низкорослый самоед, по всей вероятности глава семьи, громким носовым и сиплым голосом сказал: «Нум Никола тара, Никола тара!»

Указав на большой образ святителя, чтобы своим присутствием не стеснить пришедших помолиться, я пошел в алтарь, как вдруг позади меня раздалось громкое самоедское «торово», дружно подхваченное другими мужскими и женскими голосами. Я невольно повернулся в сторону самоедов и увидел их стоящими перед образом святителя Николая и приветствующими его. Удивленный необычностью формы обращения к святителю, перед иконою которого они предстояли, я стал за ними наблюдать. Самоеды, сосредоточенно смотревшие на суровый, но милостивый лик угодника Божия, казалось, никого кроме него не видели. Но вот глава семьи начал в глубоком молчании делать поясные поклоны, его примеру последовали прочие. Поклонившись несколько раз, старший, а за ним и другие снова устремили свои взоры на образ.

Как ни всматривался я в самоедов, не мог уловить в выражениях их лиц ни благоговения, ни страха, ни благодарности, ни мольбы. Они были так непроницаемы, как сама тундра в суровую, северную зиму. Длившееся несколько минут глубокое молчание, наконец, прервалось. Опять заговорил старший. Он громко стал благодарить святителя за оказанные им его семье благодеяния в сохранении оленьих стад и в хорошем промысле

зверя и, как доказательство последнего, около иконы упала брошенная им красная лисица, Сделав затем несколько поясных поклонов, он продолжал внятным голосом благодарить святителя за выгодную продажу в Обдорске избытка добычи и на стоящем вблизи образа подсвечнике звякнул положенный им серебряный рубль. Опять возобновившийся ряд поясных поклонов закончился одним общим земным.

Наступило снова непродолжительное молчание, во время которого все молившиеся обратили свои застывшие лица на икону, пока сильный голос главы не стал выдавать те чувства, кои привели этих дикарей в храм. Теперь у святителя испрашивалось покровительство на предстоящий год кочевья в тундре, где столь естественны всякого рода опасности и несчастья. Незамысловатые прошения милости окончились легким шумом от упавшей перед образом шкурки крестоватика и звоном другого, положенного на тот же подсвечник, рубля. Самоеды опять начали низко кланяться, опять пали ниц перед святителем; поднявшись, сделали по языческому обычаю слева направо полный оборот перед иконой и, дружно прокричав хором «локомбой», пошли из храма с таким бесцветным выражением лиц, какое сопутствовало им во все время их молитвы.

Незамеченный самоедами, я не стал окликать их, когда они уходили, и, умиленный трогательным проявлением такой глубокой веры этими по наружности тупыми и лишенными всякого чувства дикарями, начал думать о них.

Для меня ясно было, что только что вышедшие из церкви самоеды - язычники, потому что они не пытались изображать на себе крестное знамение, как делают это их крещеные соотчичи, не спрашивали восковых свечей, не просили шейных крестов и не пытались заговорить со мною, если не считать вынужденного опроса, где находится икона святителя Николая. Для меня также было понятно, что они разочарованы уже в силе языческих духов и в могуществе вершителей судеб человеческих - шаманов, ибо в противном случае их недавняя мольба к святителю Николаю имела бы более грубый характер языческого откупа от злого духа, не знающего милости и сострадания и творящего добро в соответствии с формой сделки.

И тем не менее я знал, что эти самоеды еще слишком далеки от расположения принять христианство. Я знал, что всяческие убеждения их склониться пред игом Христовым будут и тщетны, и бесплодны. Я знал даже, какими словами ответили бы они мне на мое предложение креститься. «Время не пришло, Бог сам знает, когда мы должны стать крещеными. Он и укажет время. Из нас никто еще не болел, мы не погибали в тундре, оде ни наши целы, промысел хороший. Бог терпит нас и не требует большего. Будет время - сами придем, чтобы окрестил нас. Теперь же не надо». - Так, по крайней мере, всегда отвечают язычники-самоеды, и мне никогда не приходилось слышать от них другого отпета.

Невольно облокотившись на стоявший подле меня аналой, и попытался разгадать тайну этого отношения к христианской вере, общую всех наших самоедов. И сколько я ни думал, как ни старался сделать хотя бы приблизительный вывод из многочисленных своих разговоров на этот предмет с самоедами и русскими людьми, эта тайна оставалась для меня столь же непроницаемой, какими мне казались лица самоедов, недавно молившихся перед образом святителя Николая.

Мне стало грустно, я, отошедши от аналая, взглянул на темный лик святителя Николая, причудливо освещенный огнем теплившейся перед образом большой лампы с камнями. С молитвою, взглянув на образ, я подошел к нему. И перед образом в моей памяти начали восстанавливаться многочисленные рассказы самоедов о частой помощи святителя в минуты их жизненных невзгод, опасностей и несчастий.

«Вот, вот, - думалось мне, - почему идут самоеды-язычники в православный храм, ищут образ святителя Николая, молятся ему... Это - истрадавшие, измученные люди, ищущие утешения и помощи. Здесь, в храме, они нужное находят. Споспешествующая благодать Божия уже коснулась их сердец. Они не далеки от христианства, как я думал раньше, а близки к нему. И моя, как пастыря Церкви, обязанность воспламенить уже

начавшую теплиться в сердцах язычников, как этот огонь в лампадке перед образом святителя Николая, любовь к христианству. Почему же я бессилён? Почему стоящие на пороге перехода в христианство самоеды не хотят со мною говорить о нём?»

И я вспомнил недавние благодарения и мольбы самоедов к святителю Николаю, припомнил бросившуюся мне в глаза непроницаемость взгляда их, молившихся здесь. Да, всматриваясь в самоедов, я не мог понять их чувств, потому что я слишком мало знаю их. А самоеды, ведь они ещё меньше меня знают. Как могу я влиять на них, не будучи знаком с духовною их жизнью, с их радостями и горем. Как могут обращаться ко мне эти дикари за помощью и советом, когда бескорыстных отношений к ним русских они не знают. Значит, мое незнание с жизнью самоедов и их незнание меня парализуют возможность моего влияния на них. Самоеды, близкие ко мне по духу через свое расположение к христианству, в действительности отделены от меня такой глубокой пропастью чрез мое незнание их жизни и душевных запросов, как необъятно само пространство между Обдорском и заповедными кочевьями их на полуостровах Ямальском и Тазовском.

Я бессилён в своем воздействии на самоедов, доколе не ознакомлюсь с их жизнью не по книгам, а на деле, пока не приспособлюсь к их жизни и не научусь мыслить по-ихнему. Без этого я для самоедов ничто, и без любви к ним этого не достичь. Я вспомнил слова св. апостола Павла, сказавшего про себя: «Всем бых вся, да всяко некия спасу». Вспомнил и завет его, что подражатели мне бывайте. А он, апостол языков, с иудеем был как иудей, и с эллином как эллин. Тайна моего неуспеха нравственного влияния на самоедов от крылась: условия и формы внешней жизни разобщают ту нашу внутреннюю, духовную связь, которая могла бы создаться, если бы я мог жить той жизнью, которой живут самоеды, если бы я полюбил эту жизнь, ради любви к Богу, ради любви к самоедам как к людям, стремящимся к Истине и Свету, но не могущим выбраться из круговорота своих языческих суеверий без нравственной поддержки.

Я смотрел на икону святителя Николая и, находясь на том самом месте, где стояли час назад молившиеся ему о помощи самоеды, просил у него и себе таковой в трудном миссионерском деле.

Часть 3. Отпевание покойника

Быть миссионером - дело нелегкое. Миссионер должен исправлять души вверенных его духовному попечению людей, направлять их от тьмы к свету, от лжи к истине. Миссионерствовать там легче, где в среде пасомых существуют религиозные запросы, развито совопросничество. Фанатизм язычников для миссионерских целей более удобен, чем религиозный индифферентизм. Обдорские инородцы ныне не фанатики и большинство из них должно быть причислено к разряду безразлично относящихся к религии людей. Часто у нас миссионер из сил выбивается, беседуя с такими, а они под личиной добродушного внимания его слова в одно ухо впускают, а в другое выпускают. С такими людьми надо умеючи вести беседы, надо знать, когда наступает благоприятный момент для беседы о вере и когда его нет. Наиболее действенными беседами бывают те, которые ведутся при обстоятельствах исключительных. Например, беседовать с остяками в обыкновенное время о необходимости отпевания умерших бесполезно, бесцельны собеседования и о других предметах веры.

Как, спрашивается, заинтересовать остяков и самоедов, завладеть, хотя на пять минут, их вниманием. Это очень трудно, и, сознаюсь, я за свои 6 лет службы в Обдорске крайне редко испытывал это счастье. Но я не ленился в изыскании нужных способов и мер к достижению своих веропроповеднических целей.

Четыре года назад я завел волшебный фонарь и, попросив себе разрешение устройства для проживающих в Обдорске остяков и самоедов чтений, думал, что теперь-то завлеку инородцев своими беседами, расположу их к нужному вниманию, возбужу их

мысль, повышу пытливость, которая у них отсутствует благодаря ничегонеделанию, пьянству и физической спячке в течение всей долгой, свободной от промыслов зимы. Оказалось, что я весьма ошибся в своих расчетах. На мое приглашение прийти смотреть картины «любопытательные» остяки спросили: «А угощать будешь?»

Дабы побудить их явиться на чтение, и обещал непременно сделать угощение. Собралось до сорока человек. Картины их мало заинтересовали, угощение же произвело впечатление. Думал, что во время чая можно будет заставить их высказать впечатление от виденного и от слышанного, и опять ошибся. Разговоров было много, но не о чтении, не о картинах, которые, кстати сказать, удались вполне. Остяки говорили исключительно только о своих делах и делишках ...

Я провел четыре чтения с обязательными за ними чаепитиями и потратил на последнее свыше сорока рублей. Это для меня много. Тем более, что каждое новое чтение должно было приближать к необходимости покупки новых картин, хорошего рисунка, чтобы не остыл и без того слабый интерес у остяков к чтениям. Серия же таких картин на одно чтение не дешевле тридцати рублей. Следовательно, с угощением остяков чтение должно было обходиться не меньше сорока рублей. В целях экономии я порешил пятое чтение устроить без угощения. Неосведомленные об этом обстоятельстве остяки пришли на чтение, но на шестое по счету не явились. «Что-де зря ходить?»

Это показывает, как трудно обдорским миссионерам действовать на остяков. Может ли после этого миссионер вообще рассчитывать на успех своей проповеди, если начнет ее, не сообразуясь со временем и обстоятельствами?

Наиболее благоприятным временем для проповеди остякам, по моему глубокому убеждению, может быть то, в которое остяки волнуются, мыслят. Лучше всего говорить с ними о вере на крестинах, похоронах и при свершении других требоисправлений, совершаемых по их желанию и связанных с более или менее важными моментами их жизни.

Лучшим временем для бесед с остяками и самоедами может быть признано то, когда они по доброй воле являются в миссионерский храм в качестве пилигримов для поклонения особо почитаемому ими святому - святителю Николаю Мирликийскому, Чудотворцу. Но это обстоятельство лишает нас возможности беседовать со всеми. С этим, конечно, надо по необходимости мириться, но зато следует во всей широте пользоваться тем временем, когда они душевно удручены и ищут помощи Божией. Такие случаи особо часты при смерти их близких. К беде же нашей, инородцы не отпевают своих покойников по церковному обряду, предпочитая последнему шаманские моления. А так как смертные случаи среди наших крещеных инородцев обуславливаются, с их точки зрения, необходимостью обращений к шаманам, то, естественно, нам надо особо заботиться о понуждении остяков и самоедов отпевать покойников в храме. Беседа при гробе мертвеца, когда у всякого человека пробуждаются вопросы о вере и о Боге, всегда будет действительна. Отпевание в храме покойников-инородцев, кроме этого, принесет крещеным остякам и самоедам и ту еще пользу, что они одним разом меньше будут обращаться к обрядам своей отцовской веры.

Но, спрашивается, как принудить инородцев обращаться к миссионерам-священникам за отпеванием? Они этого не хотят. Полицейские меры пользы делу вовсе не принесут и, напротив, надо ожидать очень и очень возможного вреда от подобной помощи. Миссионерам надо стараться с помощью своего влияния убедить инородцев отпевать умерших. Я, в данном случае, чтобы приохотить остяков к отпеванию в церкви с должной осторожностью иногда разрешаю им, по их обычаю, класть покойников в лодку, укладывать с ними нужный по языческой вере комплект предметов домашнего обихода, одежды и пр., не забывая в то же время преподать им на кладбище надлежащее поучение о бесцельности их приношений мертвецу.

Недавно у меня был такой случай. Пришел ко мне знакомый остяк Денис с просьбой отпеть его старуху-жену. Во время его прихода у меня было человек шесть

посетителей из русских и зырян. Остяк с горестью повествовал мне о смерти жены. Мы все внимательно слушали. В заключение своей длинной речи остяк спросил: «В лодке-то похоронить можно?» Я ответил, что можно.

- Это хорошо, хорошо, - сказал остяк со вздохом. Я поддакнул ему, прибавив, что в лодке шибко, шибко хорошо хоронить.

- Ну, ладно, батька! А ягушку, пимы и другие печи можно положить в гроб?

- Конечно, можно, клади, Денис, все-все, что хочешь, чего худого в этом, - сказал я, засмеявшись. Остяк, повторив: «Это хорошо, хорошо», спросил:

- А ты что смеешься?

Отвечаю, что рад за него:

- Ведь ты был бедный, ничего лишнего не имел, а теперь богачом стал. Ведь сколько ты вещей с покойной женой хочешь положить в ее гроб.

Присутствовавшие при этом разговоре улыбнулись. Денис обвел нас задумчивым взглядом и вышел, понурился, сказав, что завтра надо хоронить.

Каково же было мое удивление на другой день в храме, когда была принесена покойница. Оказалось, что простой мой разговор с остяком подействовал на него. Он не положил в гроб покойной жены ничего лишнего.

На кладбище я, по обычаю, говорил поучение. В нем хвалил Дениса за его решимость, вопреки языческим обычаям, отпеть жену по православному обряду. Похвалил его и за то, что он отказался от неразумного, связанного с шаманскими верованиями правила - класть в гроб покойной вовсе ненужные ей вещи. Разъяснял учение святой церкви о жизни загробной. Похвалил и остяцкий старый обычай полагать умерших в лодку, так как течение нашей жизни напоминает плавание по бурному морю, смерть же человека - тихое пристанище, добрую пристань. «Житейское море воздвигаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу своему притек вопию ти»...

Старый Денис в сердечном порыве похлопал меня по плечу, сказав: «Ем батька» (хороший батька), а когда я уходил с кладбища, все остяки приветливо закивали мне головами и громко прокричали свой прощальный привет: «Паузя, паузя».

Часть 4. История с гусиным пером

На дворе «вьюга злится, ветер воеет»... Сильные порывы «запада» грохочут ставнями... Кажется, вот сейчас злой и беспощадный ветер сорвет одну из них, выдавит хрупкие оконные стекла, и моя маленькая комната наполнится пронизывающим холодом, лежащие на моем рабочем столике бумаги засыплются мокрым снегом... Погаснет свеча, лампа...

В такую непогоду тоскливо... Не хочется читать, писать, вообще заниматься работой. И спать тоже не хочется. Сидишь или полулежишь на диване в каком-то полузабытьи, пока новая ветреная волна не ударит в наружную стену дома с двойной и даже тройной силой, отчего в комнате как бы все заколышется, зашевелится... Тогда очнешься, потом снова забываешься...

В одну из таких непогод в двери моих келий кто-то энергично постучался. Встав, я быстро направился к дверям, чтобы впустить посетителя. Спешно вошли несколько самоедов, совсем обсыпанных снегом, и тотчас же в передней комнате начали стряхивать с одежды снег.

- Батька, до тебя большое дело, - сказал, оправившись, один из самоедов.

Голос говорившего показался мне знакомым, и я спросил его, кто он.

- Андрей Няруй, - отвечает.

- А, Андрюша, друг, это ты. Рад видеть, раздевайся, проходи в другую комнату. Веди и товарищей. Какое такое дело заставило тебя ехать в такую опасную погоду?

- Батюшка, времени нет, идем скорее в церковь, повенчай меня сейчас... Я жену украл, за мной погоня, идем скорее...

- Погоди, Андрей, давай потолкуем, разберемся в твоем деле, иначе ведь я не могу повенчать тебя.

Самоеды с Андреем во главе прошли в мою комнату, по обычаю расселись на полу, и я с ними.

Из рассказа Андрея Няруя выяснилось, что он хотел жениться на одной самоедке, но из-за бедности не мог заплатить за нее просимого калыма. Отец невесты поэтому отказал ему в руке дочери и отдал ее за солидный калым в жены... девятилетнему мальчику, сыну богатого самоеда, надо сказать, христианина. Тогда я, спросив бывшую тут же невесту, согласна ли она идти за Андрея, и получив ответ удовлетворительный, расспросил самоедов, не состоит ли она в родстве с ним, взял с них соответствующие расписки, пошел в инородческую управу, где писарь заверил их тамги*, и затем немедля повенчал их.

Во время выдачи Андрею метрической выписки о браке с шумом явились в миссионерский храм самоеды, гнавшие за сбежавшими. Но было уже поздно. Я спокойно объяснил им, что отныне они лишены права отобрать у Андрея Няруя его законную жену. Единственное, что могут они сделать в ограждение своих интересов, это требовать возврата калыма у Андрея или от отца его жены, по усмотрению старшин.

Самоеды удалились. После этого случая, в одно из своих миссионерских путешествий, я гостил в их чуме и долго разговаривал с ними об описанном инциденте. Старик самоед обещал мне не брать своему сыну другой наложницы, пока он не вырастет. «Все равно, не ровен час, убежит или опять украдут... и тогда пропадай заплаченный калым». Мы расстались друзьями. Не знаю только - сдержал ли он свое обещание.

Андрей Няруй, особенно расположенный ко мне, во время своих наездов в Обдорск почти всякий раз навещает меня. Своих двух детей, не и при мер прочим самоедам, он твердо решил отдать в миссионерское училище для обучения грамоте и воспитания. И года через три двое его ребятишек будут у нас в миссии. А я подумал: «Мы воспитаем их в святой вере, выучим грамоте, обучим всем известным в обдорском крае языкам. И верю, они в своей самоедской среде будут нашими сторонниками, своей доброй жизнью и знаниями будут подрывать оковы язычества, как некогда я освободил их мать от рабства».

Недавно был такой эпизод. Пришел в здание миссионерского инородческого приюта остяк Иван Сязин. На вопрос псаломщика, что ему нужно, ответил:

- Попа-монаха надо.

- Зачем?

- Дело есть.

- Какое?

- Ему и скажу.

Доложили мне. Выхожу, спрашиваю, кто такой, что угодно.

- Батька, я с женой повенчался, а она сбежала и живет с другим.

Я посоветовал ему пойти в инородную управу, благо там проходил январский съезд старшин. Он отвечал, что был - велели привезти жену, а она не едет.

- Как же она отказывается явиться, ведь ее накажут за ослушание?

- Ну вот, поди ты, говорит. Батька, дай мне бумагу, чтобы баба вернулась ко мне. У меня ведь двое ребят, а она и их бросила, не пожалела.

- Да поможет ли моя бумага? Также не послушает и меня, как старшин.

- Дай, батька, бумагу, дай, шибко бумага нужна. Дашь бумагу, вернется баба. Я один, на промыслы идти надо, за детьми смотреть некому. Дай.

- Погоди, - говорю, - пойдем к приставу. Он устроит дело, я его попрошу...

- Что к приставу? Ты дай бумагу, и делу конец будет.

Я бумаги все-таки не дал, и... остяк от меня не ушел. Остался ночевать в моем доме. Увидев меня утром, спросил: «Бумагу-то написал?» - Я посмотрел на его доверчиво-выжидательное выражение глаз и сказал:

- Дам тебе бумагу. Да будет ли прок от нее?

- Будет, - ответил, - будет.

Написав на четвертушке достойное вразумление грешнице, я для большего апломба приложил сургучную печать, к которой припечатал гусиное перо. Отдал остяку. Он благодарил меня, кланялся и говорил, что я доброе дело сделал, теперь баба вернется. Через несколько дней я к своему удовольствию узнал, что гусиное перо, прикрепленное к печати, возымело магическое действие. Бумагу безграмотные остяки прочитать, конечно, не смогли, но перо с печатью увидели. Дело, значит, важное. И целой толпой заставили заблудшую вернуться к законному мужу.

*Остяки и самоеды печати на бумаге придают большое значение. Бумага без печати ничего не значит, с печатью же - много. Если к печати на письме или конверте прикреплено гусиное перо или другое какое птичье, то бумага или пакет приобретает в их сознании особую важность и спешность. Ленивые, они при вручении им бумаги с припечатанным пером, быстро доставляют ее по месту назначения. Как скоро птица летит, так скоро должна быть доставляема на место и бумага с птичьим пером, говорят они. Пакет с таким пером смело может быть доверен инородцам, они его всегда доставят тому, для кого он назначен.

Нам доставлен подлинник этой бумаги, в ней написано следующее: «Жене инородца Обдорской волости Кунжольских юрт Ивана Григорьева Сязина - Дарии Николаевой. Твой муж сообщил мне, что ты, законная жена его, бросила его и своих двух детей и живешь с посторонним человеком Филиппом Феодотовым Сязиным. Поэтому я, как духовный твой отец, объявляю тебе, что ты дурно сделала, не подумав о Боге, который тебя за это накажет, как накажет и твоего сожителя. Прося и увещевая тебя оставить худое дело и вернуться к своему законному мужу и родным детям твоим, сообщаю тебе, что если не послушаешь меня, то я обращусь к Большому Архиерею, который будет судить тебя по законам духовным».

Часть 5. Ярмарка

На дворе крепкий, страшный мороз полярной зимы. В комнатах, несмотря на обильную топку печей, холодно. Одетый тепло, ежишься и не можешь согреться. Из-за разрисованных самыми затейливыми кружевами замороженных стекол не видно, что делается на улице. В полдень полумрак. Ничем нельзя заняться без лампы, свечей. Да и делать ничего не хочется... На душе мрачно, тоскливо... Тишина мертвая... Изредка разве сквозь ледяные рамы окон слышится неясный звон колоколов, глухой шум от проезжающих саней и даже крики ездоков-инородцев. И эти звуки стран но нарушают могильную тишину январского морозного дня в Обдорске;. Кажется, что только какой-нибудь неотложный случай или большое несчастье могли заставить путника покинуть в это время теплый дом, уютное жилище. Не хочется верить, что люди могут теперь ходить, суетиться и ездить по маловажным делам, рискуя крепко зазнобиться, даже замерзнуть.

Но вот опять начинает доноситься до слуха звон, бряцание побрякушек, говор... Как будто несущиеся издалека, они становятся яснее, слышнее... Слышится пение, протяжное, заунывное... Что это? Хорошо закутавшись, выхожу на улицу. В воздухе тихо, он прозрачен и густ. Далеко не видать. Пятидесятиградусный мороз спирает дыхание и принуждает дышать носом. Оглядываюсь. В стороне несколько нарт с запряженными оленями. Около них пять самоедов в белых, мохнатых, из оленьих шкур гусях¹, делающих четверка похожим на белого медведя. Самоеды, не торопясь, размахивают и разводят руками, очевидно, говорят. Голосов их не слышно.

Позади меня раздалось пение... Я невольно туда оглядываюсь. На снегу вблизи моего дома сидят трое самоедов. У одного из них в руках бутылка. Вот он, запрокинув назад голову, прильнул к ее горлышку губами, очевидно, пьет. Целую минуту он глотает из бутылки. На мгновение у меня является мысль, что он закоченел в этом неестественном положении, что бутылка примерзла к его губам. Но вот он отнял бутылку ото рта и передал ее соседу, тотчас же с жадностью к ней припавшему... Вот бутылка передана третьему самоеду, допившему остатки.

Я невольно подался к этим людям, подошел ближе и начал в них всматриваться. Один из них был мужчина лет тридцати пяти, другой - оказался женщиной этих же лет,

третий... девочкой приблизительно восьми или девяти лет. Я с удивлением смотрел, как могут они в такой страшный пронизывающий мороз сидеть на снегу и, как ни в чем не бывало, пить. Меня охватила жалость и скорбь за этих людей. Я сделал шаг в сторону, чтобы отойти от них и пойти к другим людям, видневшимся вдали. За мной началось монотонное, заунывное пение в нос этих подгулявших дикарей-кочевников. Я замедлил походку, чтобы расслышать слова песни, и меня, несмотря на жестокий холод, бросило в жар: самоеды воспевали свой ум и находчивость, пособившие им обмануть и одурачить русских и зырянских купцов и промышленников. Хорошо, подумалось мне, провели они их, - и я поспешил уйти от этих бедняков дальше. Слов импровизированной победной их песни уже не слышать, голоса стихли.

Я уже далеко от них, на другой, более оживленной улице. Из конца ее доносится шум, виднеются, как в тумане, люди. Там ярмарочная площадь, и я быстро направился туда. По сторонам неширокой и недлинной ярмарочной площади стоят худенькие деревянные постройки с крышами и без них. Из труб первых построек как бы нехотя ползет белый дым, в причудливых формах застывающий в сырой гуще воздуха. В ярмарочных строениях торгуют с инородцами богатые обдорские купцы и зажиточные промышленники. Несколько выдвинувшись вперед на площадь от этих построек, стоят одна йодле другой нарты и прилавки торговцев, менее обеспеченных, и бедняков. На покрытых яркими сукнами и пестрыми ситцами прилавках бережно разложены хозяевами-самоедами товары - разные, нужные кочевникам мелочи.

Народ на площади сует и ходит. Здесь перемешались русские, зыряне, самоеды, остяки. Русского от зырянина, самоеда от остяка тут отличить может только опытный глаз. На всех надеты теплые инородческие костюмы. Картина пестрая, оригинальная. Белые мохнатые гуси самоедов здесь мешаются с дорогими и нарядными парками богачей-кочевников, с расшитыми узорами из меха ягушками инородок, с легкими малицами, часто с брововыми треушками, в обнаряженных, разных цветов сорочках, начиная от недорогих и скромных материй, кончая дорогими, яркими. Посреди площади местами стоят и лежат, не признающие мороза и холода разных мастей запряженные олени, бодрые, здоровые, сильные. Всюду слышатся зазывания торгующих, громкий торг, резкие крики, грубая брань и песни пьяных инородцев.

Всем собравшимся тут людям, кажется, нипочем ледящий все члены мороз, спирающий дыхание холод. Я невольно стал всматриваться в лица сосредоточенно и беспечно снующих здесь людей. У многих из них носы и щеки уже успели побелеть; усы и бороды от дыхания покрылись снегом, обледенели. Но это их не беспокоит, они вовсе не смущаются этим. Со свойственным северянам хладнокровием торгующие вершат свои дела, легкомысленные покупатели-инородцы - свои. Среди последних многие навеселе, некоторые совсем пьяны. Попадают пьяные женщины и дети. Всем им весело, хорошо, они довольны, по-своему счастливы.

Полюбовавшись 5 или 10 минут общей ярмарочной картиной, я медленно побрел вдоль прилавков мелких торговцев. Одни из торгующих спокойно стояли в ожидании покупателей, другие торговались; третьи и четвертые отбивали друг у друга не знающих к кому идти самоедов. Пятые тащили самоедов с ярмарочной площади в село; это соглядатаи крупных торговцев, увлекающие богатых самоедов и должников к своим хозяевам. Шестые дрались. Везде крики, шум, суета, движение...

Я пошел на середину площади, где друзья кочевников - олени, пережевывая жвачку, безучастно поджидали своих хозяев. На некоторых нартах уже лежали покупки, другие были пусты. Возле одних нарт стояли и сидели ежившиеся от холода, нетерпеливо ожидавшие родителей дети. На некоторых нартах кочевников лежали зыбки с грудными детьми. Детишки эти кричали, надрывая горла, но их крики не долетали до слуха матерей, затерявшихся в ярмарочной толпе. Мне стало больно за малюток, оставленных родителями, может быть, теперь пьяными, забывшими об их существовании.

Один младенец кричал хриплым, больным голосом. Мне показалось, что крик его слабеет и слабеет. Я подошел к нему и в ужасе отшатнулся - у него почти все лицо было переморожено, его губы едва шевелились, глаза смотрели в одну точку. Неужели он замерзает? Я подбежал к стоявшему невдалеке прилавку одного зырянина и, указывая на нарту с младенцем, спросил его, кому она принадлежит? Он спокойным голосом ответил.

- Где же родители?

- Бог знает, уже часа три их не видать.

- Ведь младенец надрывается самым отчаянным криком, замерзает...

- А что же, бывает и это, - невозмутимо холодным тоном услышал я ответ зырянина. У меня заледенило сердце.

- Нужно отнести его куда-либо в дом, позвать родителей, - сказал я.

- Где их отыскать? - не сыщешь.

Я подошел к младенцу снова, он кричал еще слабее. Рядом с ним начал кричать другой, издали доносился крик третьего... Я не помню, как ушел... Я ничего больше не видел, интерес к картинам Обдорской ярмарки сразу пропал, я не слышал больше и ярмарочного шума... В моих ушах только раздавались крики беспомощных самоедских маленьких детей и младенцев, мерзнущих, коченеющих, может быть, уже умирающих... Я подходил к своему дому. Первое, что бросилось мне в глаза, - это те самоеды, которые, сидя на снегу, пили водку и в пьяных песнях прославляли свой ум и глупость русских. Теперь, растянувшись на том же месте, они с обмороженными лицами спали мертвецким сном. Может быть, это родители того замерзающего на ярмарочной площади младенца, промелькнула у меня мысль. Я поспешно известил инородную управу, чтобы взяли этих рискующих вовсе замерзнуть пасынков природы и сообщил о положении оставленного на ярмарочной площади родителями на произвол судьбы младенца.

Прошло довольно много времени. Описанная картина моей прогулки в морозный январский день на самоедскую ярмарку из памяти моей не изгладилась и не забылась. Даже напротив - подчас незаметно для самого себя эта картина всплывает в сознании так ярко и детально, как внезапно появляющиеся в пустынях пред глазами усталых и измученных путников миражи, отчетливые, ясные до мелочей.

И я тогда задаю себе вопрос, как уберечь детей полудиких аборигенов крайнего северо-запада Сибири, спасти их от частой смерти, злой и страшной? И этот вопрос иногда подолгу сверлит мой ум и щемит мое сердце.

Где же ответ? Думаешь долго, беспомощно... Как-то глухо проскользнет тогда в сознании мысль, что спасение и приобщении инородцев к культуре, и сердце забьется трепетно, радостно, светло на душе станет... Но пройдет минута, другие отрадны мысли рассеются как дым, исчезнут, и снова поникнешь головой пред другим вопросом, грозным и страшным: как, каким путем приобщить дикарей-инородцев Крайнего Севера к культуре и возможно ли это сделать?

Часть 6. Буран

Был чудный полярный вечер, когда я выезжал на проходных оленях из селения Хэ в опозтизированное древней новгородской летописью Лукоморье - Обдорск. Висевшая над землею луна освещала своим нежным спетом величавую Обскую губу. Затвердевшая от частых крепких ветров белоснежная пелена ее искрилась мириадами иссиня-белых фосфорических огоньков. Чистый воздух нехолодной ночи был так прозрачен, что можно было видеть далеко. Впереди меня и справа горизонт сливался с серо-синим небом, на котором едва виднелись маленькие северные звезды; вдали справа едва обозначались слабые очертания горного берега, представлявшего какую-то неопределенную массу снега и льда... Кругом было таинственно тихо.

Мои здоровые олени, сначала сдерживаемые ямщиком-самоедом, теперь, запрокинув головы с ветвистыми, поросшими мхом рогами, неслись вихрем.

Нарта тряслась, трещала и, раскачиваясь из стороны в сторону, казалось вот-вот опрокинется. Я крепко держался руками за сиденье в ожидании, когда утомившиеся олени побегут более медленным и ровным бегом. Но они бежали, не зная устали, бежали как бы играя, рисуясь своим легким бегом и грациозными скачками. Пугливые, они изредка, заведя свои тени, бросались в сторону, но всякий раз своевременно сдерживаемые единственной вожжей ямщика-хозяина, зорко их наблюдавшего, опять неслись, едва касаясь ногами земли.

Неловкость от этой быстрой езды, заставившая меня смотреть на оленей, сосредоточила мои мысли на этих животных, и, когда усталые они прекратили неприятную дикую скачку, сменив ее ровной рысцей, я стал размышлять об этих исключительных кормильцах человека, заброшенного в суровую, негостеприимную страну холода и мрака.

Красивые, грациозные олени как бы смеялись над подавляющей меня северной ночью. Их, казалось, веселил нежный свет луны, бодрил холод и вовсе не страшил предстоящий двухдневный перегон. Они чувствовали, что будет для них отдых и корм, а близость человека защитит от исконного врага - волка.

Увлеченный этими думами, я невольно перенесся мыслью в недавно посещенный мною чум богача-самоеда. Я припомнил, как недавно еще любовался его громадным, в несколько тысяч голов оленьим стадом; вспомнил, как пленился своеобразной картиной оленьего пастбища, как поражался диким бегом всего стада к чуму, как восторгался шумом от этого бега, напоминающим сильные порывы ветра в вековом лесу и рев бушующей Обской губы. Мне начали вспоминаться интересные рассказы хозяина-самоеда о жизни этих чудных животных, ловко управляемых крепкой рукой кочевника во время езды на них и в свою очередь управляющих почти всем ходом жизни дикари-кочевника, долженствующего жить всегда в тех местах тундры, какие более удобны этим животным.

Воспоминания эти меня поглотили, и я долгое время блуждал в вихре их, пока, не наигравшись бегом, везшие меня олени не устали вовсе и не поплелись шагом, всегда клонящим туриста к дреме, к полусну. Мысли мои начали путаться, воспоминания стусевываться, расплываться, наступил момент засыпания во время езды на оленях, длящийся долго. Я как будто заснул, как будто не заснул - во всяком случае, уже не мог о чем-то думать. Если я и спал, то все-таки хорошо слышал покрикивания самоеда на оленей, прекрасно чувствовал замедление движения нарты и ускорение ее хода, но я ни о чем не думал, мозг перестал работать, мысль остановилась, заснула.

Долго ли продолжалось это состояние нирваны, бывающее часто при езде па оленях, не помню. Я пробудился - вернулась способность думать. Открыв глаза, я лениво огляделся кругом. Картина природы почти не переменилась. Та же ширь, гладь всюду, тот же нежно льющийся свет луны, большой, красивой.

Только на небе виднелись теперь облачка белые, как снег, лениво клубящиеся, как дым в морозное раннее утро. Дул легонький западный ветер. Зная его остроту зимой, возможность усилиться в чистой тундре, превратиться в бурю, буран, я закрыл плотнее ноги и, переменяв удобнее положение, улегся, чтобы хорошенько уснуть. Наступили опять полусон и дрема. Я долго ворочался с боку на бок, пока, наконец, не одолела от плавного раскачивания нарты усталость, нагнавшая сон. Я спал, от неудобного лежания в нарте просыпался и опять засыпал. В короткие промежутки просыпания я чувствовал движение нарты, будто стремительно летящей в бездну, слышал легкий скрип ее полозьев, заунывный, неприятный, слышал посвистывание в пустынной тундре ветра, какое-то жуткое, неприятное. «Начинается буран», - думал я, но не очень беспокоился. Уже не в первый раз меня застигала в дороге непогода, сильная, скверная, - я уже был испытанным северянином. И, просыпаясь, старался заснуть крепче.

Наконец это удалось. Плавное раскачивание тихо движущейся нарты и музыка разыгравшегося в открытой тундре ветра располагают тепло одетого в хороший инородческий костюм путника ко сну.

«Батька, вставай! Вставай, батька!» - услышал я сквозь сладкий сон грубый окрик самоеда, бесцеремонно начавшего скидывать с меня теплое меховое одеяло, которым я был хорошо закутан. Я нехотя приподнялся, и мое согревшееся лицо сразу засыпал холодный снег, струя сильного пронизывающего ветра ворвалась под гусь и малицу. Мне стало неприятно холодно, и я быстро соскочил с нарты. Кругом ничего не видать. Тучи закрыли лупу, темень отчаянная. Ветер кружил снег так сильно, что невозможно было стоять с открытыми глазами, и резал лицо, как ножом. Я растерянно стоял около нарты и не мог разглядеть ее. Оленей было не видать, ямщика тоже. Что это такое? Где я? Я торопливо окликнул ямщика, и мой окрик слился с дико ревеющим ветром. Я стоял испуганный, уничтоженный мыслью, что может быть самоед, не подозревая того, что и слез с нарты, поехал дальше. У меня сильно забилося сердце, постукивания которого мне чувствовались так сильно, что самый шум впервые испытанной мной бури, казалось, был тише, слабее.

- Батька, беда пришла! - вдруг крикнул над самым моим ухом самоед, прерывая мои гнетущие мысли, несшиеся со скоростью, должно быть, равной буянившему ветру. - Шибко буран, шибко буран, - продолжал кричать мне самоед. - Ехать нельзя, ничего не видно, олени тоже не идут, голодны, мха тут нет. Будем ночевать здесь.

Но эти жалобы самоеда меня не тронули вовсе, так я был обрадован, что не затерялся в тундре в такой ужасный буран. Я готовился уже спокойным тоном дать свое согласие на предложение самоеда-ямщика, как послышался протяжный, заунывный собачий вой.

- Собака воеет, - чум близко, - сказал радостно хозяин-самоед. - Искать станем чум. Садись, батька.

Я покорно сел. Энергично понукаемые самоедом олени бежали вяло. Проехав около получаса, мы опять услышали собачий вой. Теперь он был явственнее, слышнее. Самоед, оставив оленей, завязал их и, сказав мне, что пойдет пешком искать чум, моментально скрылся. Я остался один. Тяжелые думы разом нахлынули на меня: «Куда ушел самоед, зачем, разве можно надеяться не заплутать теперь, когда стоящие в нескольких шагах крепко привязанные друг к другу олени вовсе не видны. В десяти, даже в пяти шагах можно потеряться. Крики, разве они будут услышаны мною при этих отчаянных порывах и громком свисте разгулявшегося северного ветра. Наверное, заблудится мой проводник. Как я должен буду выходить из затруднительного положения, когда все протоптанные оленями следы занесены глубоким снегом?»

Я стал жалеть, что отпустил самоеда. Да послушался ли бы он меня? С этими тяжелыми думами я сидел на нарте, боясь сойти с нее. А буря не унималась, не стихала. Казалось порой, что ветер все усиливается, крепнет, шум и свист вихря растет, множится. Я не думал уже о холоде, обледеневших носе, щеках, губах. Я не обращал больше внимания, что стынет моя кровь, движение ее слабеет, что появляется истома, всегда сопровождающая замерзание человека. В голове у меня начало стучать от нервного напряжения. Я напрягал весь свой слух, чтобы не прослушать крики самоеда, может быть, нуждающегося в моем окрике. Но я ничего не слышал. Ветер все заглушал своим зловещим диким свистом.

Мне стало представляться мое положение ужасным, хотелось скорее бежать отсюда, бежать скоро, без оглядки, бежать так, как несется ничем не сдерживаемый ветер. Мне хотелось кричать, так громко кричать, как громок и пронзителен шум бури и свист ветра... Только благоразумие удержало меня не тронуться с места. Крику же я дал волю. Я кричал самоеду, звал его, и крики мои терялись в шуме бурана, в завываниях ветра, насмешливого и злого. От крика я скоро осип, потерял голос. Пришлось замолчать, покориться своей участи. Время шло мучительно долго, напряженная мысль работала быстро, развивая фантазию в самых мрачных, уродливых формах...

Тяжелые думы мои прервались... Я услышал, будто вдалеке, направо от меня, дикий самоедский крик, каким сзываются кочевниками олени. Напрягши все свои

горловые мышцы, я крикнул и ответ, но своего осипшего голоса я даже сам не услышал, так он был тих, слаб. От горя я готов был заплакать. Но вот опять послышался собачий вой, смешавшийся с яростным шумом ветра. Может быть, это волки? Мое сердце сжалось от сознания возможной близости этих хищников, снующих во множестве, где пасутся олени. Не моих ли оленей они почувствовали запах?.. Эти безотрадные размышления мои были совершенно неожиданно прерваны откуда-то взявшимся моим проводником-самоедом, хлопнувшем ладонью по моей спине и просто прокричавшим: «Чума нет близко. Здесь погоду переждем».

- Ты мне кричал, слышал ли мой голос? - невольно окликнул его я. Самоед ответил отрицательно. И он не кричал, и моего голоса не слышал.

- А собачий вой?

- Это волки воют, - последовал короткий ответ.

Меня на мгновение озарила мысль: не из предполагавшегося ли вблизи чума были слышанные мною крики, не оттуда ли доносился и собачий или волчий вой? Но я сразу же оставил эту мысль, так как самоед, испытавший в своей жизни не одну такую бурю, не мог ошибиться, как не ошибся и в нахождении ко мне обратной дороги в этот страшный по своей силе буран.

Осмотрев понуро стоявших и лежавших, прижавшихся друг к другу усталых оленей, самоед, ни слова не говоря больше, улегся тут же около нарты прямо на снег, подогнув под ноги подола мешкообразной своей одежды и спрятав голову совсем в малицу, куда втянул и освобожденный от головы треух. Я хотел последовать его примеру. Но оказалось, что это сделать было вовсе не просто. Мои усы и борода примерзли к краям треуха малицы, и я не мог освободить свою голову. Между тем это необходимо было сделать. Иначе я рисковал совершенно зазнобить лицо и так уже почти замерзшее. Я голыми руками быстро начал освобождать свою бороду и усы от снега и льда, образовавшегося от теплого моего дыхания. Было достаточно полминуты этой работы, чтобы заоченели мои пальцы до полной потери чувствительности. Я не знал, что предпринять дальше, и готов был разрыдаться, как беспомощное дитя. А ветер, как бы злобно подсмеиваясь надо мной, бешено крутил вокруг меня снег, обсыпая им меня кругом, засыпая лицо так, что нечем становилось дышать. Я торопливо разложил свое четырехаршинное одеяло на снег, лет на него и закутался с головою вместе, стараясь в образовавшемся тепле отдышаться, оттаять свое лицо, освободить его от ледяных сосулек, пиявками приставших к треуху малицы и моей бороде с усами. Я долго лежал так, тяжело и часто дыша, чтобы глубоким и порывистым дыханием скорее обогреться. В заботах об участии своего замороженного лица мне и в голову не приходило, что не плотно завернутые одеялом ноги также могут зазнобиться, замерзнуть, что придется тогда и их оттаивать и согревать, но уже более сложным путем.

Лицо мое отогрето, освобождено от ледяной коры, растаявшей, замочившей часть сухого, теплого одеяла. Началась сильная резь и покалывание и тех местах лица, какие были отморожены. Все же лицо горело как обваренное кипятком. Но что с моими ногами? - они отморожены, отморожены окончательно. Пальцы, пятки, вся ступня как будто не мои стали. Их нужно скорее отогреть, оттаивать, как же это сделать? Я вскочил на ноги и начал прыгать на снегу, думая таким образом размять окоченелые пальцы ног и замороженные пятки, отогреть их. Я прыгал на одном месте, спотыкался, падал и, подымаясь, опять принимался неуклюже скакать, уже забыв о своем только что согретом лице, не думая о риске его вновь зазнобить и теперь уже более серьезно. Вокруг меня свистел ветер, снег снова запорошил мое лицо, и оно опять замерзло. Я чувствовал, как уходит тепло из под малицы, обвеиваемой злым и упорным ветром, как начинает стыть грудь, холодеть спина. Я с отчаянием продолжал прыгать, в голове моей поднялся шум. Мне начал слышаться в вихрях отчаянного бурана хохот, хохот оглушительный, страшный, хохот надо мной, над этими моими смешными плясками и танцами под дикую музыку разыгравшегося в тундре бурана. Я упал. С трудом поднявшись, я хотел подойти к

своему одеялу, чтобы опять, закутавшись в него, лечь, но порыв сильного ветра сбил меня с уставых, замороженных ног. Я потерял сознание...

Долго ли я находился в этом ужасном состоянии - не знаю, только очнувшись, стал чувствовать тепло во всем теле, такое хорошее, приятное, что мог бы забыться, мог бы представить себе, что лежу на постели, в комнатах хорошо протопленного дома, если бы не эта ужасная резь в замороженных ногах, руках, лице. Я лежал в темноте совершенной. Надо мною не было больше слышно шума страшного бурана... Где я? Я хотел приподняться, но не смог. Сверху на мне лежало что-то крепкое, тяжелое. Я попробовал крикнуть. Звук моего голоса, глухой и слабый, не мог быть услышан далеко. Что делать? Необходимость заставила спокойно ожидать, что будет дальше. Для меня ясно было одно, что я засыпан снегом и испытываю все прелести медвежьей жизни зимою в берлоге. Может быть, там, наверху, еще свирепствует буран, а я лежу в полном тепле без необходимости, как вчера, страдать и мучиться от холода. Лучше лежать и ждать... Буран окончится, все равно выйду, выкарабкаюсь из своей берлоги на свет божий. Чего больше надо? Мысль моя работала вполне спокойно. Спать не хотелось, и я стал вспоминать недавнее время, все ужасы, испытанные мною страхи, перенесенные страдания и муки. Я стал вспоминать все до мельчайших подробностей. И чудный вчерашний вечер, и горячую скачку моих оленей, и чум богача-самоеда, его оленье стадо, красивое при фантастическом освещении луны, свою дальнейшую поездку, бурю, наконец, свою импровизированную скачку, пляс, ужасный, дикий...

Все это, заставившее меня так много пережить в одни сутки, направило мои думы на жизнь самоедов. Зачем они так живут, в этих грязных и вонючих чумах, всегда наполненных едким дымом от курящегося костра, холодных при небольшом морозе зимою, удушливых летом. А сама жизнь самоедов, вечно полная случайностей, таких опасных, как во время только что пережитого бурана. Это-то еще сносно. Случаи побега от кочевников разогнанных волками оленей обрекают хозяев на верную, медленную смерть от голода. Почему самоеды не хотят жить нашей жизнью - культурной, в чистых и теплых домах, хотя бы в селениях, где всегда оказывают людям взаимопомощь, где не гибнут люди от холода и голода, где можно всегда встретить нравственное участие людей, столь необходимое каждому человеку, находящемуся в состоянии отчаяния, горя, печали.

Я долго так размышлял в своем логовище, не задумываясь над тем, что будет со мною дальше. Эти мысли я прогонял от себя, как неинтересные. Мне было так хорошо лежать, мечтать и думать, что я с неудовольствием стал прислушиваться к шуму, который стал слышаться сверху надо мной,

- Ой, беда, батька! - раздался знакомый голос добравшегося до меня проводника-самоеда. - Вставай, батька, вставай! Бурана нет. Я думал, что ты пропал уже под снегом.

Я приподнялся. Был рассвет, всегда пасмурный зимою, печальный. Встав на ноги, я огляделся кругом. Обычная картина тундры: редкий, чахлый лес ельника вперемежку с голыми лиственницами, небольшими, покосившимися на юг. Саженьях в пятидесяти от нас одиноко стояли два маленьких чума. Тут же бродило около двухсот оленей, лениво добывающих из под снега ягель.

- Чум, - сказал я самоеду.

- Чум, - ответил он, досадливо сплюнув в сторону. - Найти не мог, буран шибко был, ночевали около.

- Пойдем в чум, - сказал я, чувствуя слабость во всем организме, и ощущая потребность согреться горячим чайком. Самоед, проворчав, что надо торопиться ехать, нехотя согласился пойти. Как рад я был попасть теперь к этим обычно суровым, мало разговорчивым пастухам-кочевникам. Из обоих чумов плавно подымался дым, и иногда вылетали искорки, - значит, огонь там сделан. Можно будет побаловаться чайком, закусить, по-настоящему обогреться. Довольный, вошел я в невзрачное, небольшое, среднего достатка самоедов жилище из шкур. В чуме весело потрескивал огонь, усердно поддерживаемый хозяйкой. Шел оживленный разговор. Говорил больше мальчик годов

шестнадцати, говорил ровным голосом с сознанием своего достоинства. Другие, добродушно улыбаясь, поддакивали ему, поощряя рассказ возгласами: «Еге», «о-о-о». Я вслушался. Оказалось, что мальчик был героем ночи. Волки, пользуясь бураном, напали на оленье стадо и угнали трех оленей. Долго, до утра, блуждал он по тундре в буран, много натерпелся от холода и пронизывающего ветра и в конце концов все-таки отыскал оленей и спас их от хищников-волков. Это была первая его поездка в такую ненастную погоду, когда легко заблудиться даже такому испытанному сыну тундры, как моему проводнику. Все самоеды были крайне оживлены. Я никогда не видел их такими. Сколько любви и ласки светилось во взорах мужчин, упорно смотревших на повествующего мальчугана. Любовный взор матери-самоедки не отрывался от сына. Две престаренькие старушки и те, перестав протирать шкурки зверей, ласково поглядывали на мальчика-героя. Его младший братишка с завистью слушал интересный рассказ о похождениях брата в тундре и ужасный буран. Три сестренки его, время от времени высовываясь из-за спин старушек, награждали брата одобрительными улыбками и смехом.

Между тем поспевал гревшийся чай. Закипел висевший над костром прокоптелый чайник, мать-самоедка, быстро отодвинув его от огня, насыпала в него кирпичного чая, вынула из грязного ящика бережно уложенные сомнительной чистоты чашки с блюдцами, поставила на маленький с прекороткими ножками столик и налила в них чаю так полно, что он проливался через края чашек. Сюда же на стол она поставила миску с рыбьим жиром, положила несколько ломтей Обдорского печенья, белого и черного хлеба и, сунув всем по кусочку сахару, отошла в сторону и, присев к догоравшему костру, стала подкидывать в него сухие щепки.

Разгоревшийся большим пламенем костер выделил на фоне черных шкур чума угощавшихся самоедов, осветив их лица, оживленные, умные, гордые. Самоеды продолжали задавать мальчику вопросы, и он бойко, не обращая ни малейшего внимания на меня, отвечал. Я внимательно, бесцеремонно смотрел на самоедов. Этой общей у них молчаливой суровости как не бывало. Лица добрые, обнаруживающие довольство, гордость удалью и проворством. На всех как бы написано было: смотри на нас, как счастливы мы. Мы умеем пасти оленей, извлекать из них все нужное нам и необходимое, умеем также и хорошо о них заботиться, оберегать. Ради оленей мы кочуем, защищаем их от врага-волка, мы боремся с природой, всегда относящейся к нам как мачеха, и умеем побеждать ее, даже когда разыгрываются стихии, когда, кажется, вся тварь должна страшиться и трепетать. Смотри, вот этот 16-летний мальчик уже стал настоящим человеком. Такой буран, что не под силу переносить всем вам пришлым сюда людям, ему нипочем. Мало этого. И такой ужасный по силе буран он уже сумел не только себя оберечь, но и других снасти, не дать погибнуть. Что ему, свободному сыну тундры, еще нужно? Он теперь везде как дома, он не погибнет, всегда обернется, проживет и проживет хорошо, счастливо. Смотри, сколько в этом мальчугане мощи, силы, отваги, удали...

«Да, это все так», - думалось мне. Эти люди по-своему счастливы. Буран, сразивший и измучивший меня, дал самоедам много приятных минут. Он поднял их дух, развеселил, внес разнообразие в монотонно текущую изо дня в день жизнь. Буран заставил их сейчас жить полной жизнью. Как оживились теперь самоеды, как засветилась в них теперь отвага, уверенность в себе, своих силах, как обнаружилась жажда новых подвигов в борьбе с грозной и беспощадной природой Севера. Смотря на самоедов, я был убежден, что ни за что не променяли бы они свой чум в тундре на теплый дом в любом селении, весело потрескивающий огонек костра - на печи, всю свою чумовскую обстановку, так объединяющую обитателей чума, - на обстановку богатого дома. Они ни за что, ни за какие блага не расстались бы с оленями — красивыми, выносливыми, дикими. А после шири необъятных тундр им тесно было бы жить в поселках, на Севере обычно незатейливых, скучных, где жизнь и в хорошую погоду и в дурную монотонно одинакова, пуста, бессодержательна и грязна. Как, думалось мне, можно разубедить самоедов, что культурная жизнь выше и лучше их кочевой, пастушеской. Скажи им это, и

они рассмеются мне в глаза: «Не тебе, - скажут, - учить нас, советовать и наставлять, когда ты в испытанном бурене чуть не замерз, не умер. Наш герой- малыш жизнеспособнее тебя, ему жизнь, удасть впереди, а не тебе. Ты у него учишься жить, а мы от тебя не станем...»

После продолжительного отдыха в чуме я ехал в Обдорск с невеселыми мыслями. Чем помочь самоедам, как приобщить их к культуре, сделать людьми сознательными, мыслящими? Чем больше я об этом размышлял, тем расплывчивее становились мои мысли, терялась всякая опора, надежда на успех сделать что-либо для них. Грустно мне было, когда подъезжал я к серенькому Обдорску, одиноко стоящему на высокой горе у реки Полуи. Обдорск отпраздновал уже 300-летие своего существования в качестве колонизационного пункта русских. Что же он дал инородцам? Привил антикультурные привычки употребления спиртных напитков, курения табака, а еще что? Приучил организм инородцев к хлебу, который не может произрастать в голой и холодной тундре. Обдорск, следовательно, поставил инородцев в некоторую зависимость от русских. Но зависимостью-то этой можно ли воспользоваться, чтобы помочь им?

Часть 7. У шамана

День клонился к вечеру, когда толмач пришел ко мне с вестью, что все устроено для поездки на шаманское моление в Пашерские юрты. Я крайне был этому рад, мне давно хотелось видеть шамана при исполнении им религиозных обрядов. Мне хотелось лично проверить расказы о шаманских чудесах, слышать таинственные изречения шамана, в которых инородцы видят глубокий смысл, сзывающую духов музыку пензера (бубна), как говорили, резкую для слуха европейца, но подавляющую душевные силы людей, парализующую их сознание и волю по намерениям шамана, делающего присутствующих своей игрушкой...

Полная луна обильно лила серебряный свет на снежные пространства тундры... Было морозно... Но ни я, ни трое моих агутников не были тепло одеты, так как нам предстоял небольшой пятиверстный перегон. Наши сытые, низкорослые лошадки бежали бодро и весело... Затвердевший от постоянных холодных северных и западных ветров снег хрустел под их ногами, полозья наших саней скрипели на все лады. Мы ехали на трех отдельных розвальнях. Спутник, ехавший впереди всех, крикнул: «Перегоняйте меня!»

И наши лошадки понеслись вперед вихрем. Кто-то вылетел из саней, и свободная от вожжей лошадь повернула назад, к Обдорску. Пришлось нагонять ее. Поймали и решили торопиться ехать, ведь нам предстояло одно из самых любопытнейших зрелищ...

Ровная дорога окончилась, мы стали держать вправо к берегам Полуи, где стоят знаменитые Пашерские юрты, самые близкие от Обдорска - центрального стана миссии, в которых почти нет христиан, и поклонение камню, дереву, разным куклам, земле, воде и проч. процветает во всей силе. Мы проехали несколько оврагов, поднялись на гору и наконец опустились на береговую полосу реки Полуи. **(замечательное явление! Чем ближе инородцы проживают от сел и поселков русских и зырянских, тем упорнее они держатся язычества. Миссионер бессилен в своем влиянии на таких инородцев. Это объясняется, по моему мнению, насмешками над религией инородцев со стороны русско-зырянского населения, часто глумящегося над вероучением инородцев и оскорбляющего их покражами шайтанов. Напр., в 1908 г. был обкраден знаменитый в Пашерских юртах шайтан, находившийся где-то на одном из берегов Полуи.)**

Почуялся едкий, разносящийся зимою по тундре на несколько верст запах дыма, и мы увидели вдали слабо мерцающие огоньки. Почувствовав человеческое жилище, наши кони заржали, прибавили бегу, и мы приехали. Оставив коней около одной юрты, мы пешком, часто спотыкаясь, пошли по ухабистой дороге к юрте шамана. Вот показалась и сама юрта, низкая, вся засыпанная снегом, искрившимся при очаровательном лунном освещении.

Нигде не было слышно ни собачьего лая, ни крика человеческих голосов. Даже наши лошади притихли, уничтожая запасенный для них овес. Все казалось вымершим по мановению волшебника. Толмач подошел к низкой, едва заметной входной двери, открыл ее, и нас обдало специфическим остяцким юрточным запахом, от которого у многих, впервые посещающих юрты, появляются головокружение и тошнота. Но мы все были люди привычные к остяцким жилищам со всеми их одушевленными и неодушевленными атрибутами, издающими резкую тошнотворную вонь - дыма, падали, испорченной оленины, протухшей рыбы и проч. Низко наклоняя головы, чтобы не удариться о дверной косяк, мы вошли в юрту. В ней все было обычно. Прокопченные до полной черноты стены и крыша вместо потолка, под которой были приделаны две или три перекладыны для вешания одежды и сушеной рыбы. Низкие, на одну четверть от земляного пола нары со множеством всяких старых, перетертых оленьих шкур и шкурок, заменяющих постели, со всевозможным рваньем, взамен подушек. Вправо от входной двери, в углу, находился обычный у остяков чувал и рядом с ним, как непомерная в юрте роскошь, железная печка, горячо накаленная и распространявшая угарное тепло по холодному всегда помещению.

В правом углу у противоположной дверям стены на некотором возвышении стоял запачканный деревянный зеленого цвета сундук, обитый жестяными, в форме параллелограммов пластинками тюменского изделия. На крышке его лежал старый, прокопченный дымом, как и сама юрта, пензер (барабан овальной формы, около аршина длины и десяти приблизительно вершков ширины, обтянутый оленьей шкурой, - необходимая принадлежность шамана), и около сундука висела на вбитом в стену гвозде старая солдатская сабля, не диковинная в Обдорске, так как такие сабли имеются почти во всех обдорских лавках и у многих обывателей, торгующих с инородцами. В левом углу той же стены на прибитой дощечке стояла керосиновая с грязным стеклом лампа, плохо освещавшая внутренность юрты. Когда мы вошли, шаман неподвижно лежал на нарах, его жена, безобразная старуха, перетирала мужние пимы.

Наш приход шамана, по-видимому, не тронул. Он лениво приподнялся на локте и равнодушным негромким голосом сказал: «Пришли». Еще полежав минуты две, шаман поднялся и, спросивши у толмача, - есть ли у нас с собою водка, сел в положении выжидательном. Получив утвердительный ответ, велел своей жене настругать мороженой рыбы. Мы же поставили на верх железной печки привезенный с собой жестяной чайник со льдом, чтобы обогреться горячим чаем.

Шаман стал готовиться к гаданию, а его жена на плетеном из травы сомнительной чистоты кружке подала нам большое количество очищенной от чешуи мелкой мерзлой рыбы, называемой «неликами». Шаман, осмотрев внимательно саблю и пензер, подсел на корточках к нашему столику и, налив доверху в чайную чашку водки, выпил ее залпом, за один дух, отплюнулся и стал со свойственной остякам быстротой и прожорливостью уничтожать рыбу. Впрочем, он не забыл предложить выпить и нам, но мы отказались, предоставив это удовольствие за себя его жене, которая в умении пить водку оказалась большой искусницей. Одним разом выпив чашку водки, она даже не стала закусывать ни рыбой, ни хлебом, которого мы имели запас. Облизнувшись, с блаженной улыбкой на лице, она села па корточки поодаль от нас, поближе к чувалу, в котором начала поправлять большой щепкой догоравшие дрова. Шаман, допив теперь прямо из горлышка бутылки остатки водки и запихав в рот несколько рыбок, подсел к своим чародейным орудиям.

Мы благодушно пили чай и с любопытством наблюдали за шаманом, который, сидя спиной к сундуку, подвесил на веревку к одной из перекладин крыши саблю острием к себе и что-то бессвязно бормотал. Минуты две длилось это бормотание с легким пришепетыванием и присвистыванием, свойственным большинству остяков. Мы не разговаривали, в юрте была полная тишина, мы даже старались затаить дыхание, чтобы не помешать остяцкому колдуну.

Вдруг, откинувшись несколько назад, он торжественно сказал: «Все будет благополучно у вас».

Мы рассмеялись, но по лицу шамана было видно, что он не обиделся.

- Откуда ты узнал, что мы будем благополучны? - спросил его кто-то из моих спутников.

- Мне велено всем вам сообщить это, - последовал ответ.

Мы рассмеялись снова. Шаман по-прежнему не обратил на это внимания. На лице его была какая-то натянутая серьезность. Его лицо было неподвижно. Все существо его как будто изменилось, во всех движениях его было что-то особое, малоестественное. Он снял с веревки саблю, повесил ее на гвоздь на старом месте и взял пензер.

- Что теперь будешь делать? - спросил его кто-то из нас.

- Буду вызывать духов.

- Каких, добрых или злых?

- Не знаю, но только они здесь будут, ты будешь их слышать, может быть, и увидишь.

Шаман поднялся, подозвал нас к стоявшему в углу на возвышении сундуку, открыл его и, поднеся к нему лампу, сказал: «Смотрите». Мы с интересом начали осматривать несколько находившихся там грубо сделанных кукол и массу всяких остяцких образцов кукольной одежды.

- Это шайтаны, - сейчас же пояснил нам шаман, - а это одежды, в которые одеваются духи и в которых они летают в юрте при их вызове, во время битья в пензер.

Объясняя это, шаман пристально смотрел на нас, как бы желая удостовериться в силе впечатления, произведенного на нас осмотром таинственного сундука.

Я шутливо сказал шаману, что крайне интересно видеть его духов.

- Увидишь, - последовал лаконичный ответ.

Лампа была поставлена на прежнее место, огонь ее, и так несильный, убавлен, сундук с шайтанами и волшебной одеждой для духов прикрыт крышкой, должно быть, для того, чтобы нескромный глаз не видел переодевания духов. Шаман с пензером в руках подошел к железной печке, сильно накалившейся. Старуха отошла в сторону, где светилась лампа, и, там усевшись, вновь стала перетирать руками различные шкурки. Мы уселись опять на своих местах, где раньше пили чай, внимательно следя за шаманом, который сидел на корточках у печки и согревал свой пензер. Старая, дряблая шкура пензера от влияния тепла стала натягиваться на обруче и выравниваться.

Шаман слегка ударил по пензеру такой же ветхой, как и он сам, палочкой, конец которой обшит оленьей шкуркой. В душно натопленной юрте раздался оригинальный звук, напоминавший отдаленный гром. Шаман с самым серьезным видом продолжал нагревать пензер, время от времени испытывая его звуки ударами магической своей палки. С каждым новым ударом в пензер стало казаться, что громовые раскаты все приближаются и приближаются к юрте; вот они уже совсем близко к ней, вот будто они уже раздаются кругом нее, становятся сильнее, грознее, делаются с каждой секундой учащенные; вот они слились в сплошной гул, от которого чувствовалось дрожание стен юрты, ее старой крыши, казалось, каждую секунду готовой рухнуть и задавить всех собравшихся здесь. От этого выбиваемого в пензер оглушительного гула у меня стала слегка кружиться голова, а подобный раскатам грома гул рос и рос...

Мне стало не по себе. Громовой гул уже ударял не в стены юрты, не в ее гнилую крышу, а в мою голову. Казалось, что от этого потрясается самый мозг... В это время сквозь оглушительный шум пензера стало слышаться легкое завывание. Оно начало усиливаться, становиться слышнее и слышнее. Стало делаться диче и диче, пронзительнее и пронзительнее. Этот дикий вой шамана так резал слух, что невольно пробегала по телу дрожь. Чувство неловкости у меня стало увеличиваться, а эти двойные теперь звуки пензера и голоса шамана все увеличивались, росли. Все силы ада, казалось, собрались сюда для пения, криков, игры... Я упорно смотрел на шамана. Какая-то невидимая сила

приковала мое зрение к нему... Впечатление было сильное... Шаман, сидя на корточках, сначала при ударах в бубен легко раскачивался из стороны в сторону всем своим корпусом. С усилением битья в пензер, с началом подпевания под дикую его музыку эти раскачивания усиливались, делались более быстрыми, живыми.

Когда удары в пензер достигли апогея, и его пение, вернее, вой, дошел до кульминационной точки, шаман, седой старик, уже почти ослепший, стал так высоко подпрыгивать, что впору акробату, стал так трястись, как будто его била крепчайшая лихорадка. Его лицо свело, искривились губы, глаза дико и безумно блуждали... А он бил в бубен непрерывно, завывал, не переводя дух, подпрыгивал безостановочно, как заведенная машина...

Мои нервы были потрясены, и я хотел, чтобы все это скорее окончилось. Я хотел закрыть глаза, чтобы не видеть шамана, на губах которого показалась пена, корпус которого извивался самым неестественным образом. Но я не мог этого сделать. Я хотел закрыть руками уши, чтобы не слышать диких и страшных выкрикиваний его, но чувствовал такую слабость, что трудно было приподнять руки, хотел закрыть свою голову ладонями, чтобы ослабить потрясающие мозг звуки пензера, но не мог сделать и этого. А пензер гремел, шаман выл по-прежнему.

Наконец шамана стали оставлять силы: ослаб его голос, руки стали терять силу... Завывание шамана потерялось в волнах гула пензера. Этот гул стал становиться слабее, стал отдаляться от юрты, стал слышен уже где-то далеко, далеко... Раздался пронзительный крик, из рук шамана выпал пензер, сам он упал на спину, несколько мгновений его корчило, затем он вытянулся, закрыл глаза и громко захрапел. Церемония окончилась. Мы прибавили в лампе свету и, зажегши еще привезенную с собой стеариновую свечу, стали ждать пробуждения спящего. Четверть часа спустя шаман поднялся, схватил пензер и начал было опять бить в него, но не смог, - после трех — четырех ударов он снова лежал.

Только через полчаса он оправился и спросил, нет ли у нас с собой чашки водки. Получив отрицательный ответ, он, вздохнув, сказал: «Ой, беда!»

- Какая беда? - спросили мы.

- Водки нет, - коротко ответил он.

Мы спросили его, были ли здесь духи, потому что не видели их.

- Духи не приходили, звал их, нейдут.

- Почему?

- Потому что поп здесь - боятся.

Мы рассмеялись, и я заметил шаману, что духи, может быть, потому не пришли, что пензер очень старый, что не лучше ли ему продать его, пока имеются покупатели. Старик шаман согласился, и я приобрел у него для миссионерского музея этот музыкальный инструмент, гипнотизирующий суевренных остяков. Простившись с хозяином-шаманом, мы поехали обратно в Обдорск, пробыв в юрте около двух часов. Луна по-прежнему светила, придавая тундре волшебный вид. Наши лошади везли нас легкой рысцой. Мы все молчали. Все думали, должно быть, об одном и том же: о только что проведенном у пашерского шамана времени. И я представлял себе картины остяцкой жизни, несложной, простой, скучной, пустой. И не удивлялся, что остяки напиваются допьяна, когда имеют деньги, - попойка вносит в их жизнь разнообразие, что они в другое скучное время сходятся к шаману... Я удивлялся, почему колонисты Обдорска не идут на помощь этим остякам, почему насмеваются над их религиозными обрядами и обычаями, почему не хотят вносить свет духовного просвещения в темные массы остяков, почему отворачиваются от них, как от низшей расы... Почему не протягивают им руку помощи... Они ведь в этом так нуждаются...

Часть 8.Халмеры

Несколько раз посещал самоедские халмеры (кладбища) и почти всегда не как миссионер, а как любитель-этнограф. Халмеры - страшные для самоедов места. Они всегда по возможности их объезжают, предпочитают сделать несколько верст крюку, чем ехать вблизи хал- мер. Особенно же они стараются не попадать в те места, где покоятся останки шаманов.

Мне долгое время не приходилось быть на халмерах, хотя они меня крайне интересовали. Не представлялось такого случая, который мне был необходим: мне хотелось быть на самоедских похоронах, хотелось, по возможности, видеть весь погребальный церемониал их, для меня представлявший жгучий интерес. Мне хотелось попасть на халмеры совместно с погребальным шествием, хотелось все это видеть собственными глазами, как бы ни обошлось все это дорого. Исполнение этого моего желания встречало самое серьезное затруднение. Самоеды боялись допустить меня на свои похороны по шаманскому обряду. Они боялись меня, как миссионера, как русского, не инородца.

Была довольно теплая, но сырая погода, когда я ехал на протяжных оленях по реке Обь в Обдорск. Часы показывали не больше шести вечера. Спать не хотелось, ввиду предположений проводников-самоедов сделать ночлег в находившейся недалеко избушке старика-самоеда, оберегавшего летние рыболовные помещения одного из русских промышленников. Однако и бодрствовать не представляло большого удовольствия. Ничего нет хуже, чем ехать зимой в тундре несколько суток в такую погоду, какая была теперь. После сильных морозов при повышении температуры ощущается пронизывающая сырость, проникающая даже под теплые инородческие дорожные костюмы. И этот сырой воздух страшно удручающе влияет на настроение путешественников. Мысль работает слабо, нервы распускаются так сильно, что всякий даже слабый толчок нарты раздражает. Такая погода в тягость даже оленям, как бы здоровы и сильны они ни были. Самые усердные понукания самоедов не могут заставить их бежать быстро и весело, как это всегда бывает в крепкие морозы.

Я полулежал в своей кошеве, лениво смотря на унылый вид Обского бассейна, представлявшего до бесконечности ровную поверхность, занесенную снегом. Небо было пасмурно. По всему видно было, что пойдет снег. И он вскоре действительно начал падать большими хлопьями. Это еще больше усилило мое дурное настроение. Мне захотелось как можно скорее добраться до ночлега. Я знал, что мы приедем в занесенный буранами снегом, а может быть, нарочно для тепла заваленный им небольшой русской постройки домик, с маленькими сенями, небольшой кладовкой в них и одной, на полуторных саженьях в квадрате, комнатой, с потолком и железной печкой. Знал, что здесь живут со стариком-караульщиком самоедом две жены его, старая и молодая с годовалым ребенком. Знал, что старик и старая жена его - язычники, что младенец молодой жены старика не окрещен, хотя мать его считается православной.

От нечего делать я начал припоминать свое недавнее посещение этого старика-самоеда. Вспомнил, как, разговаривая с ним во время чая, я мимоходом спросил его, отчего он не крестится, когда большинство соотчичей его уже покрестились, почему не крестится его старая жена, почему он уклоняется и от крещения своего ребенка.

- На что креститься, если прожил век в своей вере, если Бог терпел меня и старуху. А ребенка буду крестить, когда настанет время. Что худого в крещении? - промолвил старик. - И не говори мне о крещении, знаю, что ваша вера хорошая, но и наша недурна. Была бы худая, не держали бы её наши деды, - продолжал он с таким видом, что пришлось переменить тему разговора.

Теперь я опять ехал к этому старику гостем-путешественником. Скорей бы, думалось, приехать. Я сказал самоеду, чтобы поторопил оленей, и стал смотреть вперед, - не увижу ли где на берегу реки знакомого домика. Сквозь хлопья падающего снега было

трудно что-либо разглядеть, но я, вооружившись терпением, не взирая на то, что снег порошит мое лицо, упорно всматривался в даль. Избушки все не было видно, зато я различил вдалеке ездока на легкой нарте, быстро скользившей по мягкому, только что выпавшему снегу. Мой толмач ехал впереди меня чуть не на полверсты. При встрече с ним нарта одинокого самоеда остановилась. Остановилась кошева и моего толмача. Самоеды, подвязав оленей, стали разговаривать, а когда я подъехал к ним, то услышал громкую перебранку своего толмача с его проводником и встречным самоедом. Я быстро выскочил из своей нарты-кошевы и на вопрос, в чем дело, узнал от толмача, что встречный самоед - гонец от семьи старика-самоеда, в доме которого предполагался наш ночлег. Старик два часа тому назад умер, гонец послан к нам навстречу для предупреждения наших проводников, чтобы они случайно не завезли меня к ним.

Проводник толмача решил, повернув в сторону, объехать жилище умершего самоеда и заночевать где-либо в открытом месте. Толмач же, зная о моем желании попасть на самоедские похороны и предчувствуя неприятную перспективу ночлега в открытой тундре в дурную снежную погоду, воспротивился намерению самоедов. Из-за этого и началась между ними ссора. Я сразу принял сторону своего толмача и приказал ехать в дом покойника. Самоеды решительно отказались, предлагая везти куда угодно без всякой платы, но только не в дом умершего, какие бы деньги им за это я ни предлагал. И все-таки решил настоять на своем требовании. Это был исключительный случай попасть на самоедские похороны по шаманскому обряду. Я знал, что если теперь, после моего требования везти в дом покойника, самоеды настоят на своем, то в будущем мне уже никогда не придется быть па самоедских похоронах. Пришлось страшить проводников неприятностями для них в Обдорске, обещать, что никаких неприятностей для них не будет от моего присутствия на их погребальных церемониях.

Больше часу времени пришлось убить на эти споры, пока самоеды, скрепя сердце, не решили исполнить наше требование, соединенное с самыми смешными и нелепыми угрозами. Поторапливая своих проводников, мы быстро катили вперед. В воздухе запахло дымом - мы были уже близко к цели своего путешествия. Олени повернули к берегу, въехали в ложбину, поднялись из нее, свернули на малозаметную дорогу и быстро подлетели к домику, возле которого стояло около двадцати самоедов. Наш приезд их удивил и смутил.

- Зачем сюда приехали? - посыпались вопросы недовольных самоедов.

- Приехали посмотреть ваши похороны, - ответил толмач.

- Для чего, какое вам дело до наших похорон? Идите своей дорогой, не мешайте нам! - кричали самоеды.

- Мы и не хотим мешать вам делать то, что вы должны исполнить по обрядам своей веры. Мы хотим посмотреть, как вы хороните своих умерших, мы вправе здесь быть, потому что и сами не возбраняем вам бывать на погребальных церемониях наших, - убежденно говорил толмач самоедам.

Самоеды стали все вдруг говорить, кричать, ругаться с моим толмачом, а я, оставив их, прошел в помещение, где лежал умерший.

Он положен был у стенки справа от входной двери. В комнате уже было почти темно, и я зажег захваченную с собой свечку. Самоед уже был закутан в разное тряпье, которое носил при жизни. Ничего особенного в комнате не было заметно. Я сейчас же затопил находившимися здесь дровами железную печку и, присев на скамеечку о трех ножках, стал ожидать окончания переговоров толмача с волнующимися самоедами. Вскоре пришла молодая жена покойного со своим грудным ребенком, а за нею старая. Они сели поодаль на пол, причем молодая, прижимая к груди своего сына, горько плакала. Старуха молчала, изредка угрюмо взглядывая на меня. Я взял одну из запасенных на дорогу книг и попробовал читать, но не мог сосредоточиться и минут десять спустя отложил книгу в сторону.

А с улицы с прежней энергией продолжали раздаваться крики и брань самоедов с моим толмачом. «Скоро ли все это окончится?» - уже более получаса они никак не могут прийти к соглашению разрешить мне присутствие на похоронах. В душе же я решил, что похороны буду видеть, хотя бы мне пришлось прожить здесь несколько дней. Наконец, мало-помалу шум на улице стал затихать, и самоеды поодиночке начали входить в дом. Толмач пришел чуть не последним с печальным известием категорического отказа самоедов допустить мое присутствие на похоронах. Я ответил на это, что из юрты не выйду, пока не будет похорон. Самоеды усмехнулись. Тогда я приказал толмачу приготовить чай, напился чаю и лег спать около входных дверей, чтобы предупредить попытку самоедов унести покойника из дома во время моего сна. Такая решительность удивила самоедов, и они, вышедши на улицу, вновь стали совещаться между собой, а я, оставшись один в комнате с покойником, утомленный чуть не суточной бессонницей, крепко заснул. Под утро меня разбудил сильный стук в дверь, предусмотрительно запертую мною изнутри.

- Эй, э-э-эй, поп, - кричали стучавшиеся самоеды, - отворяй!

Но я нарочно медлил к удивлению самоедов, пославших уже кого-то за толмачом.

- Стучим, шибко стучим в двери, кричим попу, не открывает дверь, - закричал один из самоедов шедшему к ним толмачу, устроившемуся, было, на ночь в своей кошеве. Ой беда, беда с попом, беда нам, - кричали самоеды, забавляя меня своим страхом о моей участи. Наконец я решил открыть дверь, и к общему удивлению самоедов, они увидели меня не только здоровым, но и смеющимся, а покойника мирно лежавшим на своем месте. Самоеды повеселели, и мне было дано позволение присутствовать на похоронах.

Теперь, дружно беседуя, мы пили чай. Самоеды охотно рассказывали мне некоторые из своих обычаев, соблюдаемых при похоронах и, между прочим, заметили, что дело похорон без водки у них почти никогда не обходится⁴. Во время этой очень оживленной беседы молодая жена покойною сказала, что ей надо говорить со мною. Я поручил толмачу узнать подробно, что ей надобно. Толмач долгое время разговаривал с ней и затем, отозвав меня в сторону, сообщил о горе вдовы. По самоедским обычаям дети умершего переходят к старшему его брату. Он уже приехал, хочет взять ее сына с собой предоставив ей право жить у него или уходить куда хочет. Из слов самой самоедки видно было, что жизнь в доме брата ее мужа будет ей тяжела. Она явится там совершенно лишним и чужим человеком, убираться же в родительский дом без сына будет нестерпимым горем. Нельзя ли, просила она, устроить ей разрешение возвратиться к родителям вместе с сыном, - все равно ее выгонят из дома жены брата ее мужа. Они сделают ее жизнь такой несчастной, что ей придется бежать, хотя никто не будет ее гнать.

Не сочувствовать горю вдовы было нельзя. Закон самоедов о наследствах неумолим. Через толмача я обещал ей всяческое свое содействие. Прежде всего, у меня мелькнула мысль о том, что вдова христианка, что, окрестив сына, она имеет право требовать воспитания своего ребенка в правилах своей веры. Язычники-самоеды, наследники его, не могут этого сделать, что, конечно, должно лишить их права воспитывать ребенка, так как это не предусмотрено обычным инородческим правом. Я предложил самоедке-вдове окрестить сына. Она согласилась. Как зовут ее, ее умершего супруга, кто будут восприемниками, и прочие сведения нам нужно было зарегистрировать в походный журнал для метрики. Начали спрашивать. Она назвала себя, назвала восприемников, сказала, каким именем хочет назвать своего первенца-сына, Но решительно отказалась сообщить имя покойного мужа, еще лежавшего здесь, в этой комнате.

- Как же мы будем крестить твоего сына, не зная имени его отца? Если ты не назовешь его имени, мы не станем крестить. Не окрестив же твоего сына, мы ничего не сможем сделать для тебя. Твоего сына возьмет брат твоего мужа, и ты останешься одна, - сказал я.

- Не смею, не могу назвать его имени, - сказала она с плачем.

- Почему?
- Нельзя, самоеды этого никогда не делают в течение этого времени.
- До каких пор?
- Несколько лет.

- Ну, уж несколько лет - слишком много. Ты крещеная, тебе нечего бояться, пускай боятся они, а не ты, - сказал и ей, указывая на присутствующих. - Говори, как зовут твоего мужа, а то я откажусь крестить, и тогда будет поздно.

Самоедка-мать заколебалась. Она робко взглянула в сторону покойного мужа и со слезами заявила, что боится. Самоеды же, видя, что она находится в состоянии колебания, закричали на нее, чтобы она не смела говорить. Начались перекрестные выкрики мои, моего толмача, матери-самоедки и всех присутствовавших самоедов, крик которых заглушал наши голоса. Кое-как удалось успокоить их. Надоела мне вся эта история, и я сказал толмачу, чтобы он в последний раз передал от моего имени матери-самоедке мое требование: если она не назовет имени своего покойного мужа, то я не стану крестить ее сына, и он будет у нее отобран. Услышав это, самоеды громко начали кричать, чтобы не смела она этого делать, а я, смотря на нее в упор, ожидал, когда они успокоятся.

Через несколько минут затих голос последнего крикуна, и при полной тишине раздался ровный и спокойный голос самоедки-матери, называвшей имя своего мужа. Трудно описать, что произошло в этот момент! Самоеды, чуть не с угрозами смотревшие на бедную вдову, теперь с таким неподдельным ужасом и страхом перевели свои взоры на покойного, пяясь ко мне, будто ища во мне защитника, что я сам испугался сначала, - не случилось ли чего особого. Лишь через минуту я хохотал до упаду. Самоеды думали, что покойник при произнесении его имени встанет, что называние покойного по имени тревожит его покой, сердит его, делает его врагом не только для посторонних, но и для присных кровных. Необходимые справки для метрики мною были записаны в путевой журнал, младенец окрещен, сказано поучение присутствующим, мать ребенка успокоена.

Уже наступило время совершения погребения. Самоеды втащили в юрту лодку, кормовая и носовая части которой были отрезаны и заделаны такими же тоненькими, как сама лодка, дощечками. В лодку мужчины уложили покойника со всем его ношеным платьем. Не забыли положить с покойником и некоторые из его вещей: кисет с запасом табаку, трубку, табакерку и кое-какие мелочи. Затем вынесли гроб наружу, где стояла приготовленная в запряжке нарта с лежавшими на ней лыжами и подвязанными под низом ее небольшими колокольцами. Гроб поставили на нарту с лыжами, перевязали его веревками, чтобы он не упал во время переезда на халмеры. Оленей, везших гроб-лодку, привязали к нарте одного из самоедов, и все мы налегке по два человека на нарте тронулись в путь.

Отъехав с версту от жилища покойника, мы очутились в типичной тундре, крайне редко заросшей тощими деревцами ельника и лиственницы, иногда березкой. Ехать было недалеко. Через полчаса ровной езды мы увидели издали массу деревянных срубов с кольями и перекладинами на них. Меня поразило, как гармонирует обстановка халмер с тундрой. Так же бедна, незатейлива она, как растительность тундры. В расположении срубов с гробами тот же дикий беспорядок, как в размещении деревьев, кривых, убогих, с наклоненными верхушками и к северу, и к югу, и на запад, и на восток. Халмеры с каждой минутой приближались, обрисовывались яснее и яснее.

Уже можно было различить некоторые подробности срубов. Мне бросились в глаза колокольчики, висевшие на перекладинах, придерживаемых кольями, вбитыми крепко и землю со стороны голов и ног покойников. Вид унылый, вызывающий глубокую грусть.

Мы остановились в пятидесяти приблизительно сажнях, не доезжая до самого кладбища. Двое из самоедов, отломив от ближайшего дерева по ветке, пошли к одному из срубов, в котором покоились, по всей вероятности, останки одного из их родственников. Подойдя к той стороне сруба, где приходились ноги покойника, они, остановясь, ударили поочередно в висевший на перекладине колокольчик, затем пошли с левой стороны

покойника вдоль сруба, к голове его и позвонили в другой колокольчик, перешли на другую сторону сруба и сделали то же самое. После этого один из них посыпал из своей табакерки немного табаку, а другой вылил из бутылки немного водки в ноги и голове покойника. Так родственники дали знать о своем при бытии на халмеры усопшему и своими приношениями почтили память его.

Между тем в одном месте халмер другие прибывшие с нами самоеды поспешно делали из припасенных досок сруб, внутрь которого, прямо на землю и был поставлен гроб-лодка с привезенным нами покойным стариком-самоедом. Стали в честь умершего справлять тризну. Для этого задавили веревками двух оленей. Я никогда не забуду печального выражения глаз этих оленей, когда веревки сдавливали их горла, когда прекращалось их дыхание, их жизнь. В умных глазах оленей было столько укора людской жестокости... Но они скоро сомкнулись...

Олени уже лежали бездыханными, опрокинутыми самоедами на спины, причем рога их для устойчивости приданного убитым животным положения были воткнуты в снег, который минут через пять уже орошался их горячей, красной кровью. Теперь самоеды копошились в оленьих внутренностях, вынимая из них лучшие лакомства: сердце, почки и пр. Часть этих лакомств была положена в сруб с покойником, а на стенках сруба с одной стороны самоедом, бормотавшим что-то себе под нос, был сделан жертвенной кровью небольшой круг и с другой - фигура луны в первую ее четверть. Начались поминки. Самоеды пили водку, закусывали сырым мясом, запивали его кровью. И промежутках между угощением они заделывали досками же верх сруба, не забыв внутри его положить с покойником некоторые из его вещей. Потом приделали к срубам со стороны головы и ног покойного два шеста, к ним приделали перекладину и привязали к ней у головы и ног умершего те колокольчики, которые были подвязаны под нартой, на которой его везли.

Поминки окончились. Водка была выпита, олени съедены, остались одни кости и головы. Головы с рогами вместе были положены на сруб покойного, около сруба бросили нарты и лыжи его, предварительно их надломив. Больше ничего не оставалось на халмерах. Стали собираться в обратный путь. Повеселевшие от выпитого вина самоеды никак не могли выехать. О покойнике они, конечно, забыли, зато стали выражать свои чувства на друг к другу. Пьяные, они обнимались, целовались, начали петь песни, потом драться. Больших трудов стоило заставить их тронуться в путь. Мы пробыли на халмерах больше пяти часов, хотелось скорее выбраться из них. Но самоеды ехать не торопились, Они постоянно останавливали свои нарты для новых разговоров, ссор и драк. Чуть не два часа мы ехали пять верст, пока добрались до избы умершего самоеда. О немедленном выезде отсюда на Обдорск, куда я ехал, нечего было и думать. Самоеды все были пьяны. Нечего было думать и об отдыхе, который мне был крайне необходим. Пьяные самоеды навязчивы. До утра почти они не давали мне покою, пока, не уставши сами, не завалились спать. Только на другой день после самоедских похорон уже к вечеру мне удалось отсюда выбраться. Наши проводники после вчерашнего кутежа были с больными головами, управляли оленями неосторожно. Олени бежали так вяло, что скорее, казалось, можно было идти пешком. Снег крупными хлопьями беспрерывно падал на землю, делая дорогу неудобной для езды. Я в самом сумрачном настроении ехал вперед, убежденный, что однодневный наш перегон до Обдорска продолжится не менее двух суток...

Часть 9. На Оби

Ночь уже наступила, когда я выезжал на большом миссионерском каюке из Пароватских юрт на Питлярский песок. На Оби было полное спокойствие. Многоводная на севере Обь, казалось, застыла, так было тихо. Даже течение ее едва замечалось. Зеркальная поверхность воды рельефно отражала поросший тощим полярным леском и травой горный берег, вдоль которого я ехал так медленно и плавно, будто гребцы боялись

скоростью движения нарушить торжественную тишину великолепной июньской ночи, бессумеречной, светлой, как день.

Я, облокотившись на мачту, стоял на крыше своего испытанного уже в бурных обских водах каюка. Мое внимание привлекла чудная картина Уральского хребта, возвышавшегося на горизонте над водою. Спокойный, величественный, не покрытый растительностью, местами белевший от не растаявшего на нем снега, Урал фантастически освещался солнцем. Мягкие лучи полночного, ярко-красного, как кровь, солнца, проходя через белоснежные облака, окрашивали вершины Урала во всевозможные цвета, начиная от темно-пунцового, кончая самыми нежными, светлыми. Казалось, все цвета радуги играли на Урале, постоянно перемешиваясь и меняясь. А выше над Уралом, будто прикованные к месту, облака принимали самые причудливые формы и виды... Они тоже поражали глаз своими мягкими цветами так, что трудно было оторваться от этого волшебного зрелища.

Закатываясь, солнце приближалось к Уралу, приближалось быстро, разнообразия переливы своих лучей, охватывавших вершины хребта. Вот солнце почти коснулось Урала, стало опускаться на него и, как в калейдоскопе, его лучи заиграли по Уралу, раскрашенному, красивому... Я с замиранием сердца следил, как солнечные лучи стали останавливаться, застывать. Дивное освещение Урала начало делаться одинаково красным; как вовсе остановилось в своем движении, наполовину скрывшееся за горные отроги солнце; как почти ставший кровавым Урал застыл, стал неподвижным, тяжелым. Целых полчаса, представляясь спящим, висело солнце неподвижно... Заснул Урал... Казалось заснула вся природа, и без того страшная своей безжизненностью и широтах Обдорского края... Я ждал восхода не закатившегося вполне солнца, в сырой гуще воздуха представлявшегося шаром кровавого цвета...

Но вот Урал встрепенулся. На нем появились тени, легкие, подвижные. Ярко-пунцовое освещение его стало незаметно переходить в цвет ярко-красный, красный, оранжевый, в другие... Все опять смешалось... Опять нерели вы лучей подымающегося, восходящего солнца стали окрашивать Урал в цвета радуги, сначала яркие, потом бледные, потом едва уловимые глазом. Задвигались и поплыли облачка, крутившиеся над Уралом во время солнечного заката. Солнце торопливо подымалось вверх... Последний цветной луч его, упав мягко на вершину самого высокого Уральского отрога, рассеялся, исчез. Заколебалась и задвигалась очнувшаяся от дремоты природа. Урал, так близко от меня стоявший, стал удаляться, уплывать в неведомую даль, Кто тяжеловесные очертания становились легкими, как воздух; он подернул си синевою, стал голубым, как само небо; вот он почти слился с небом; так эфирен и чист делался его вид на целый долгий летний день.

Стоявшие над ним облака стали уходить ввысь за солнцем, сделались тонкими, прозрачными, растаяли вовсе. Подул легкий западный ветер. На спокойно спавшей Оби появилась зыбь, тощие деревца на горном на берегу её зашевелились, заговорили. Прошло около часа. Солнце уже высоко держится, нежно обдавая землю своими теплыми лучами. Обь успокоилась, её поверхность опять приняла чистый, зеркальный вид. Опять кругом воцарилась мертвая тишина, как в пустыне... Только мерные удары по воде весел гребцов-остяков, странно нарушая тишину раннего утра, свидетельствовали о жизни...

Я продолжал стоять на крыше каюка. Спускаться в темную его каюту мне не хотелось, и я начал смотреть на Обь, желто-зеленые воды которой текли медленно, едва заметно.

Это только что закончившееся очаровательное зрелище заката и восхода солнца навело на меня глубокую грусть. Почти постоянно безжизненная на севере природа, всегда усыпляющая дух, парализующая волю, стала еще мрачней. В душе начала чувствоваться обычная от созерцания этой дикой, будто недоконченной творением бедной природы пустота - предвестница продолжительной хандры. Я лениво уселся на крыше каюка, пытаюсь чем-либо рассеяться. Но вокруг меня было так однообразно, что вовсе не

на чем было сосредоточить внимание. Я посмотрел на горный берег Оби, издали кажущийся черным, тяжелым, давящим, перевел взор на луговую сторону берега реки, еще едва покрывшуюся свежей травой, и нетерпеливо начал смотреть вперед, где на горизонте обские воды сливались с прозрачно-голубым небом. Нигде не видно было ни жилья, ни признаков человеческой жизни.

Я начал смотреть на своих гребцов, уже около трех часов безостановочно ровно, хотя и медленно махавших неуклюжими остяцкими веслами. Все пятеро гребцов были типичными остяками. Все они были обнаружены в летние «гуси» разных цветов: черный, синий, красный, желтый и неопределенного от ветхости цвета. Треухи у всех были откинута назад, под ушами виднелись косички, переплетенные красными шнурами. У всех черные, как смоль, волосы, растрепанные, грязные, и смуглые, безбородые и безусые лица. Один из остяков был стариком, два - пожилые, один - молодой и один - подросток. Я стал пристально рассматривать лица своих гребцов, стараясь уловить в каждом из них характерное, индивидуальное.

Однако все попытки к этому остались безуспешны. Во всех мускульных передергиваниях их лиц была одинаковая безжизненная тупость. Глаза всех остяков были одинаковы. Во всех взорах лежала одна и та же печать, какой-то беспричинной грусти. Это меня крайне заинтересовало. Здесь крылось что-то необычно новое, до сих пор ускользавшее от моих наблюдений. «Эти остяки, - думалось мне, - из одних юрт. Они часто вступают в брак в самых близких степенях родства. Возможно, что все они близкие родственники. Может быть, некоторые из них братья. Но все-таки не могут же они быть даже при плотской близости так близки в отношении духовном». Я самым бесцеремонным образом стал смотреть в упор на старого остяка. Но он был так поглощен своей механической работой веслом, что не чувствовал на себе моего острого взгляда. Тогда я стал переводить свой взор на другого, третьего, по очереди на всех в уверенности, что кто-нибудь из них почувствует на себе мой пристальный взгляд и обернется. Но, к большому удивлению моему, никто из них не замечал меня. Все, как один человек, продолжали монотонно грести, все были одинаковы. Мне, глядя на их лица, стало казаться, что все они и думали об одном и том же, если только могли сейчас мыслить.

Мой интерес к этому загадочному явлению стал возрастать. Он страшно усилился, когда мысль озарилась воспоминанием чего-то хорошо знакомого в картине моих наблюдений над остяками. Я начал напряженно думать и вспоминать...

Вдруг один из остяков вынул из уключин свое весло, чтобы заложить за губы табак. Его глаза на момент засияли чудным блеском. За ним повынимали из уключин свои весла и остальные гребцы. И у них также на момент появился во взорах тот же блеск, добрый, ласкающий... И этот момент открыл мне тайну, так разжигавшую мое любопытство. Остяки напоминали мне природу Севера, почти всегда скучную, тоскливую, мертвую. Природу, оживляющуюся крайне редко такими дивными явлениями, как недавние закат и восход солнца над Уральским хребтом, как северные сияния зимой, спокойные, тихие, величавые...

Ах, как воплотилась в остяках природа Севера, как слились они с нею! Как своей неподвижностью и вялостью, обычным отсутствием во взорах мысли, они напоминают полярную природу, безжизненную, мертвую... Как редкими, чарующими глаз вспыхиваниями напоминают они необычно красивые, заставляющие все забывать явления природы Севера. Это великолепие дарует природа не часто, но очень много светлых и возвышенных минут вносит в тоскливую монотонность жизни...

Невдалеке виднелся Питлярский песок. Я любовался красивым его расположением... А мысль назойливо сверлило только что сделанное мною открытие такого сильного давления природы на плоть и дух аборигенов...

Часть 10. В долине реки Надым

Это было давно. Десять лет кануло в вечность с тех пор, как мне пришлось побывать в долине реки Надым летом, провести там несколько суток под открытым небом, испытать прелести ночевки с мириадами комаров, единственных в это время обитателей страны, так оживляемой зимою кочевниками-самоедами с их оленьими стадами...

Нас, путешественников, было десять человек - я с товарищем, три толмача и пять самоедов. Целью нашего путешествия было отыскание в стране Надыма места для миссионерского стана, но не о нем здесь будет речь. Я хочу рассказать о своих путевых впечатлениях, могущих принести хотя бы малую пользу будущим исследователям этой местности - центра зимних кочевий самоедов.

9 июля, при самой благоприятной погоде мы выехали из Обдорска, летом малолюдного и скучного. Путешествие совершали обычным порядком, при посредстве междуворной гоньбы от одного рыбопромышленного заведения до другого. Несколько суток пришлось потратить, чтобы добраться до Хэнских рыбопромышленных заведений, откуда, собственно, и должно было начаться наше путешествие в Надым, признанный профессором Аркадием Ивановичем Якобием лучшим местом для миссионерского стана и административного пункта в Обдорском крае.

Ничего нет отвратительнее этих длинных и продолжительных путешествий в лодках, медленно плывущих под неторопливыми ударами весел гребцов, скрипящих, монотонно вздрагивающих после каждого взмаха весла. Настроение путешественников почти всегда становится мрачным, они скоро начинают нервничать от неустанной борьбы с комарами, не позволяющими заняться никаким делом. Внутри каюка нестерпимо душно, на крыше его не на чем остановить взор. Кругом вода, синеватая полоска горного берега, тупые лица самоедов-гребцов... А комары и там и здесь одинаково зловеще пищат и не дают ни минуты покоя...

Доехав до Ярцыног, последнего перегона в Хэ, крайне утомленные путешествием, желчные, раздраженные, мы решили для разнообразия пройти последние двадцать верст пешком зимней горной дорогой на Хэ. Без проводника нельзя было идти из-за опасения заблудиться. Только после двухчасовых переговоров с самоедами один из них согласился провести нас этим путем. Нас пошло трое - я, толмач и проводник. Мой товарищ с другим толмачом поехали в лодке.

Первоначально, почти на протяжении двух верст, наш путь пролегал по сырому твердому песчаному берегу Оби. Но вот низенький, широкоплечий проводник быстро повернул едва заметной тропинкой на пятишестисаженную гору. За ним стали подниматься и мы. На горе оказался сухой белый песок, начавший крайне затруднять наш ход. Я, приказавши проводнику идти как можно скорее, чтобы прибыть в Хэ одновременно с нашим каюком, страшно утомился. Вдали показалась заманчивая трава; думалось, что там, на лугу, будет более твердая почва. Но это оказалось горное болото, усеянное прихотливой формы кочками. Пришлось прыгать с кочки на кочку по следам далеко опередившего нас самоеда. Болотистая возвышенность стала опускаться, появился крутой, покрытый скользким илом обрыв. С трудом сойдя с него, мы перешли вброд неширокую, в сажень, наполовину высохшую речушку.

Поднявшись на гору снова, мы некоторое время двигались по параллельному реке живописному обрыву. Местами был ягель. Опять вошли в полосу сыпучих песков. Пески сменились неизменно однообразными болотами, предвестниками второй горной реки. Показалась и сама речка. Проводник объявил, что половина пути пройдена. Отыскав более узкое место, мы с трудом перебрались на другую сторону этой быстрой, весело бурлившей речки. Присели отдохнуть. Отдыхали недолго - на нас напали несносные комары. Горная поверхность стала делаться ровной, обратилась в необозримую равнину, покрытую низкорослым, редким леском. Мы вошли в приполярный лес, где чахлые

деревца ельника и кривые в верхушках лиственницы отстоят друг от друга на четыре, пять и больше сажен. На земле полное отсутствие травы. Под ногами легкий, глухой треск отламывающихся иногда тонких сухих веток, шум от ступания на сухой ил или какой-то неведомый мох. Что-то таинственное, волшебное было в представшей глазам картине этого леса. Ослепительное северное летнее солнце дополняло эффект. Оно будто сгущало уже теплый воздух.

Я остановился очарованный. Тишина мертвая, деревья не колышутся, будто околдованы... Околдован сам чистый и прозрачный воздух, по странному восприятию впечатлений казавшийся густым... Пустыня... Но пустыня не давящая, не гнетущая, а напротив, вызывающая какой-то особый восторг, редкое восхищение...

Не знаю, сколько времени я стоял, отдавшись своим чувствам, и сколько бы еще простоял... Под впечатлением этой дивной картины я забыл все и вся... Даже утратил чувство боли от комариных укусов. Только сильный окрик самоеда и внушительный его толчок в мою спину привели меня в чувство. Его, должно быть, немало подивил мой гипноз...

- Чего тарачишь глаза. Смотри, комары всего облепили, - сказал мне нетерпеливым гнусавым голосом проводник. Я провел ладонью по лицу, и она окровавилась от раздавленного комарья. Несносная боль лица от комариных укусов заставила меня почти бежать за проводником, этим юрким маленьким северным человечком, ноги которого, казалось, не умели уставать. Невдалеке виднелся холм, по словам проводника, - рубеж нашего пути. За ним Хэ - теперешняя цель нашего путешествия, место покоя от комаров, отдыха от усталости, пункт сборов в Надым. Однако как ни близкой представлялась возвышенность, мы долго не могли до нее добраться.

Я остановился и присел на землю отдохнуть. Моему примеру последовали спутники. Отдых оказался, однако, невозможным: кровожадные комары тучами налетели на нас, подняли такое острое, раздражающее нервы жужжание, что мы предпочли спастись от них постыдным бегством, пока не добежали до долгожданной холмистой возвышенности. Нам, начавшим спускаться по достаточно отлогой тропе вниз, предстало редкое зрелище: легкая, искрящаяся мириадами бриллиантов от солнечных лучей зыбь моря воды... Мы в Хэ. В ста саженях от берега наш каюк, около него лодка с пассажирами, высаживающимися для переправы на берег. Каюк приплыл в Хэ одно временно с нашим прибытием.

Немного отдохнув в домике знакомого русского, я послал одного из толмачей за нужным для дальнейшего нашего плавания проводником зырянином. Он не заставил себя долго ожидать и согласился сопровождать нас. Часов через пять мы вновь усаживались в свой каюк для отплытия на рыбопромышленное заведение Паули приблизительно в семидесяти верстах от юрт Хэнских. Из Паули, собственно, мы и должны были выехать в Надым. При попутном легком ветре мы благополучно совершили небезопасный перегон в шестьдесят верст от Щугинских миссионерских помещений до Паули, по Обской губе, до крайности капризной, благодаря легко переменяющимся направлениям ветра...

Прибыли рано утром. Надо было отыскать не меньше пяти гребцов-самоедов, знающих Надымскую местность. Это была очень трудная задача, Всегда подозрительные самоеды ни за какие блага не хотели нас вести. Пришлось убить много времени, пока удалось уговорить нескольких человек за высокую плату провести нас в нужные нам места. И не обошлось без курьезов. Самоеды никогда не согласились бы вести нас, если бы я не стал стращать их становой приставом, проехавшим вперед нас в Ныду, и мировым судьей, следовавшим за нами.

Главное дело было сделано. Пять самоедов спешно начали собираться в дорогу, пользуясь прекрасной погодой. Мы пошли сделать съестные запасы. На все это не потребовалось много времени. Когда мы вернулись к своему каюку, около него увидели большую открытую лодку, в которой предстояло нам проплавать несколько дней, и ямщиков-самоедов, уже совершенно готовых в путь. Мы очень скоро перебрались с

нужными нам вещами в приготовленную лодку и, напутствуемые пожеланиями доброго пути, отчалили от берега Паулинского поселка. Он скоро скрылся из виду. Берег, принимая вид гонкой с синим отливом полоски, начал все отдаляться и отдаляться от нас, пока не стал едва заметным. А на севере голубое с полупрозрачными облачками небо сливалось с мутно-зеленым морем. Повернули влево под боковой легкий северо-восточный ветерок и ровно поплыли на парусах, без которых ни один обский самоед не отваживается пускаться в путь.

Плывем около четырех часов, мирно беседуя с самоедами, у которых во всех ответах скользили осторожность и сдержанность, когда вопросы касались Надыма и его притоков. Впереди нас давно уже виднелся горный отрог - Святой мыс, служащий гранью между богатой растительностью и промыслами долины реки Надым и бедной тундрой. Святой мыс, с именем которого связано у наших самоедов много легенд, почитается ими и поныне. Проезжая мимо него, они всегда бросают что-либо в воды, омывающие его, для умилоствления богов. Я ожидал: не станут ли мои подводчики делать это. Мне очень хотелось видеть обряды и форму приношения жертв именно в честь этого мыса.

Мы приближаемся к мысу все быстрее, благодаря усилившемуся ветру. Вода сильно скрадывает расстояния от разных предметов. Кажется, что мыс в одной-двух верстах от нас, на самом же деле - в пятнадцати. Чистота воздуха дает возможность, невзирая на отдаленность мыса, различать отчетливо деревья на его вершине, своеобразно представлявшиеся небольшими колышками, прихотливо воткнутыми в землю. Малопоросший растительностью мыс, окруженный безбрежными водами Оби, казался диким. Он выглядел гордым, величавым исполином, которому все нипочем. Потому-то, должно быть, самоеды и почитают его, называют «Святым», в честь его бросают в воду деньги, льют вино и пр.

Но мне не удалось подплыть к Святому мысу близко, самоеды круто повернули влево, оставив его с правой стороны. Мыс начал отдаляться от нас... Зато вдали показалась блестящая на солнце змейка - река Надым. Мы стали отыскивать ее русло. Долго провозились. Нашли. Глубина его достигала в дельте от 15 до 16 четвертей. Эта мера, конечно, не могла служить верным показателем глубины устья реки. Мы производили измерения после почти двухдневного юго-восточного ветра, угнавшего в океан много воды. На Севере ветер — волшебник. В одну ночь он почти осушает наши небольшие речки, многоводные делает мелкими, образует из них болота, по капризу своему нагоняет из океана воды, заливая даже высокие берега, отдельные реки и речушки превращает в единое море.

Мы ехали по Надыму в Обской губе около пяти верст. Губа осталась позади нас. Низкие берега Надыма образуют прекрасные пойменные луга. Сочные травы на них, волнообразно колыхаясь, представляли нам уже иное, ласкающее взор, зеленое с желтизной море травы. Везде было очень глубоко, наш пятиаршинный шест не доставал дна. Показался ровный песчаный берег. По берегам стал появляться местами мелкий тал. Река свернула к западу. Вдали завидели мы две лодочки с людьми - это колыданщики-зыряне из Хоровинских юрт.

Через час мы выходили на липкий глинистый берег этого крошечного поселка. Не оставаясь в нем более получаса, поехали дальше уже по совершенно безлюдной летом местности Надыма. Широкая до сих пор река немного сузилась, берега ее повысились, тальник на них стал чаще и выше. Через час подплыли к большому острову, разделяющему Надым на два рукава. Мы держались правой стороны. Глубину мерили поочередно. Шест не доставал дна, как и прежде. Пейзаж реки, до сих пор однообразный, стал меняться. Берега стали обрывисты, кусты тальника, с подмытыми водой корнями, местами неуклюже склонялись к реке и задевали своими ветками воду.

Остров кончился, Надым опять слился в одно русло. Вид местности начал несколько разнообразить низкорослый, корявый, северный березняк. На реке - полное спокойствие. Брызги от ровных и мягких весельных ударов далеко разлетались по

зеркальной поверхности Надыма. Движение лодки производило глухой, несколько раскатистый шум. Все это - и спокойный Надым, и плеск воды от весел, и шум от движения лодки, и эти унылые берега, поросшие вперемежку березняком и талом, и чистое голубое уже почти вечернее небо - навевало тихую грусть, приводило в то настроение, когда неприятен даже человеческий голос...

Прорвали, точно с общего согласия, воцарившуюся нашу тишину самоеды, увидавшие лежавший наполовину на левом берегу, наполовину в воде громадный кедровый ствол. Это подарок верховья реки, разлившейся весной.

Природа не меняется, неизменны и виды, если не считать оставленной уже позади нас протоки Енситы. Едем долго. Теперь тальник плотной стеной скрывает от нас местность берега правой стороны, впрочем, и с левой стороны реки не лучше, только там изредка появляется реденький просвет. Легкие повороты Надыма и его изгибы не позволяют видеть далеко. Так и кажется, что плывем по озеру. Надым начал расширяться, показалось впереди новое разделение его на два рукава. Думаем, не новый ли остров.

Темно-синего цвета на светлом небесном фоне высокая гора приводит нас к предположению, что здесь - впадение в Надым реки Яроди, низовья которой надо было обследовать тоже. Спрашиваем самоедов. Отговорились незнанием. Советуемся с хэнским зырянником-проводником. Решили плыть речкой, ведущей к горе. Начали вымерять глубину. Шест оказывался малым. Наткнулись на остатки разнесенного весенней водой запора. К удивлению нашему самоеды теперь стали общительнее, начали всячески доказывать, что мы в водах Яроди. Было уже за полночь. Подводчики заговорили о ночлеге. Мы же хотели по возможности теперь же добраться до горы, отстоявшей от нас не далее пяти-шести верст. Мы сменили подводчиков, которые дружно и весело заработали веслами. Лодка быстро неслась против течения. Проработав безостановочно больше часа, мы остановились передохнуть. Оглянулись по направлению к горе, а ее и след простыл. Яроди оказалась очень капризной речкой, она делала самые причудливые повороты и из стороны в сторону, и вперед, и назад. Решили для ночлега пристать к берегу. Только повертели к облюбованному месту, самоеды крепко опротестовали наше намерение, заявив, что через два плеса будет лучшее для ночевки место. По указанию самоедов действительно пристаем к высокому сухому берегу, где увидели следы стоявшего здесь когда-то чума. Убедились, насколько хорошо знакомы самоеды-ничегонезнайки с местностью наших исследований...

Комары, шадившие нас днем на реке, напали на нас на суше со страшным ожесточением. Мы немедленно стали раскладывать большой костер и, обложив его кругом мокрым дерном, уселись под самый дым, которого комары переносить не могут. Но переносить его не могли и мы. Дым ел глаза, попадал в дыхательное горло... В результате все мы и кашляли, и чихали, и плакали. Выходили из сферы действия дыма, чтобы передохнуть немного, но там попадались к комарам, которые сразу же целыми тысячами облепляли храбреца, чуть не с воем тотчас же возвращавшегося под спасительный кров дыма. И все-таки этими храбрецами мы все успели перебыть чуть не до пятнадцати раз за всю короткую ночевку. О чае и ужине никто и не помышлял, хотя громадный медный чайник весело кипел над костром. Были принесены из лодки эмалированные чашки и холодная закуска. Запасливые самоеды, устроив для защиты от комаров полог, все вместе забрались под него спать. Мой товарищ пошел спать в лодку. Хэнский проводник-зырянин, нахлобучив на голову трех своего летнего гуся, уткнулся лицом прямо на траву и закрыл голову еще для большей безопасности локтями рук. Недалеко от него расположились спать, закрыв лица платками, мои толмачи. Я же сидел у костра, подкладывая безостановочно сухие и сырые ветки деревьев и хворост. Наконец и я не выдержал. Несмотря на жгучий зуд от комариных укусов, на острую глазную боль от дыма, веки стали слипаться, и я заснул тревожным больным сном...

Спал очень недолго... Закрытый рясою, я вскоре почувствовал нестерпимый жар в ногах. Я быстро приподнялся и к ужасу увидел, что моя ряса тлеет. На нее или попала

искра из непогашенного костра, или я во сне передвинул близко к пылавшему костру ноги. Я вскочил и начал тушить свою рясу - единственную свою одежду, взятую в это путешествие. Но она, к огорчению моему, очень сильно пострадала. Спать я уже не мог. Слишком повысилась нервная деятельность... Я по-прежнему сидел с самой дымной стороны костра, иногда отходил от него и начинал быстро бегать по сухому берегу нашей стоянки. Но и эта беготня не спасала от комаров. Они были везде, и их громкое пискливое жужжание начало приводить меня прямо в ярость. Я, подбежав к костру, снова стал подкладывая в него сухие щепки, решив, что для спасения от комаров нужен не дым, а большой огонь, сильный жар, действие которого комары не в состоянии будут выдержать, но который в то же время освободит наши глаза от страданий, причиняемых дымом.

Костер начал разгораться сильным пламенем, щепы и хворост звучно трещали. Треск костра пробудил от сна одного из моих толмачей, который, быстро поднявшись, подошел ко мне. Я не мог не рассмеяться. У него все лицо было почти сплошным пузырьком - так оно опухло от расчесывания зудящих мест. Он ответил мне тем же смехом. Мое лицо было все в крови от раздавливаемых комаров... За толмачом повылезали из-под полога самоеды, проклиная день и час, когда согласились с нами ехать в эту комариную страну. Но мы только смеялись. Комары умудрялись проникать и под полог самоедов, и с лицами их сделали то же самое, что и с нашими. Встал проводник-зырянин, осмеянный теперь уже повеселевшими самоедами. И правда, нельзя было без смеха смотреть на лица подымавшихся со сна. Дружным смехом был встречен мой товарищ, вернувшийся к нам из лодки. Он там, должно быть, подвергся еще большей комариной атаке. Поднялись все. Решили скорее выпить чаю и выехать в реку, где комаров значительно меньше. Час спустя мы плыли. Легкий ветерок приятно освежал наши горевшие лица, и если бы не крайняя усталость от невозможности выспаться, мы, должно быть, скоро забыли бы ужасы ночевки в этих гиблых местах.

Опять показалась гора, манившая нас вчера вечером. Река раздвоилась. Вымерили. Влево от нас было пять аршин, вправо - четыре. Оставаясь верными себе, взяли курс направо к горе. Река сделалась извилистее и уже, глубина оставалась прежней. Растительность стала богаче и разнообразнее. Гора совсем близка. Въехали в большое, около трех верст в диаметре, мелкое озеро. Подплыли к горе.

С одним из толмачей я вышел на топкий болотистый берег, чтобы подняться на гору. Казавшаяся издали крутой, она была порядочно отлога. Напали на след зимней дороги. Поднялись довольно высоко и, выбрав более удобное место для общего обзора окрестностей, я решил осмотреть их в подзорную трубу. Сделать этого не пришлось - заставили отказаться комары, не дававшие даже пятисекундного отдыха. Пришлось вернуться к ожидавшим меня в лодке спутникам. Начали искать выход из озера, но нигде его не находили. Озеро было так мелко, что плыть по нему почти не представлялось возможности. К счастью, заметили небольшую проточку и с большими усилиями добрались до неё. Начались странствования по различным протокам. Лодку перетаскивали на бечеве. Добрались до другого такого же озера, еще больше высохшего. Решили отдохнуть. Согрели чай и закусили. Пошли пешком искать выход.

Отыскивали протоку с сильным течением, перетаскивали в нее лодку и поплыли дальше. Невдалеке, разделившаяся надвое протока одной частью текла от горы, другой, с более сильным течением, - с востока. Самоеды горячо советовали ехать к горе. Я был другого мнения и приказал двигаться к восточному склону. Моему приказанию самоеды повиновались неохотно. Протока стала шире и глубже. Наш шест перестал доставать дно. Я с одним из толмачей тянул бечеву. Проводники-самоеды, разговаривая в это время с другим толмачом, сообщили, что больше плутать нам не придется, что теперь мы попадем в глубокую речку Пара-пуды, а оттуда в настоящую Яроди, что мы вчера плыли по реке, именуемой Вен-Яга. Скрытные самоеды, оказалось, не хотели направить нас на нужный нам путь и предоставили это сделать самим. Действительно, скоро из-за крутого обрыва открылась широкая многоводная река Пара-пуды, как называли ее подводчики. По

берегам ее росли большие ели, высокий березняк, ветвистый кедр, кривая рябина и вся в цвету черемуха⁷. Это было так неожиданно, что мы не могли прийти в себя.

Я сошел на берег в лес, не наш, северный, с чахлым ельником и кривой лиственницей... Хотя это было на севере, приблизительно в 90 верстах от Хэнских юрт... Я рвал цветы черемухи, но она была без запаха, и самый цвет ее был с легким зеленоватым отливом. Может быть, это какой-либо вид черемухи, не знаю... Вернувшись в лодку, поплыли снова. Версты через две самоеды указали слева на не очень широкую речушку, назвав ее Яроди. Около слияния рек мы мерили. Было очень глубоко. Продолжали путь по Пара-пуды - в дальнейшем ее течении - Яроди. Местность живописная. С одной стороны волнообразный гористый берег с красивым смешанным лесом, с другой - белый песочный берег, изредка поросший меньшим леском. Опять измеряли глубину. Шест не доставал до дна. Верст через пять подплыли к горе. Река, круто повернув в сторону, теперь текла у самой ее подошвы.

Пристав к берегу, мы поднялись на гору. Гора была сплошь покрыта белым с зеленоватым отливом ягелем, тощим, мшистым, с сухими верхушками ельником, изредка кедровником, небольшим и чахлым. С горы открывался вид на далекое пространство. Синей полоской виднелась другая, Норэйская, гора, служащая с этой границей долины реки Надым. Возвратившись в лодку, поехали обратно. Поднялись по Пара-пуды к слиянию рек. Повернули в протоку; названную самоедами рекою Яроди. Эта часть Яроди оказалась крайне мелкой и узкой. Глубина местами не превышала одного аршина.

Мы поняли, что самоеды опять начали нас путать, но знали, что этой проточкой выйдем в Надым. Через три часа кружения по протоке мы попали наконец в Надым. Около трехсот сажен ширины, с гористым правым берегом, обросшим высокоствольным смешанным лесом, с низким луговым берегом слева. - Надым был великолепен. На противоположной гористой стороне его виднелся темный силуэт юрт, называемых Нгасен-сале. В эти юрты мы и направились. Местоположение их красиво. Сами они на высокой горе. Внизу под ними большие раскидистые ивы. Здесь я распрощался со своим товарищем В., который с самоедами и одним из толмачей поехал обратно в Паулинские юрты, а я с другим толмачом и проводником-зырянником поехал через протоку Енситу в Хэ и на Обдорск. Нам предстоял еще новый труд - измерить Енситу, о значительной глубине которой я много слышал. Она, впадая в Обскую губу около Святого мыса, много безопаснее устья Надыма и могла бы служить **лучшим** путем для проезда в Надым, если бы там устроился миссионерский стан. Енсита около сорока верст, не широка, зато пряма и глубока. В устье она мелка - от восьми до девяти четвертей. На другой день к вечеру мы были в Хэ. Не мешкая здесь, я отправился в легкой лодке на Обдорск. Ехал, конечно, быстро, так как все время одолевали комары. Но когда вспоминал комаров надымских, то над обскими невольно подсмеивался...

Часть 11. День в остяцкой юрте

Еще один страшный удар волны в бок нашей лодки. Раздался необычайно сильный треск, и мы с грохотом вылетели на каменистый берег Питаярских юрт... Обь бушевала... Мы счастливо отделались, пережив только около часа страшной боязни потопления в глубоких водах реки... Нашу лодку поковеркало, многие вещи наши погибли, мы были вымочены насквозь... Но мы были на суше, в полной безопасности... Как приятно было стать на острые камни, видеть невдалеке серенькие остяцкие юрты, в хорошую погоду так мало заманчивые... Нас охватила радость жизни, и мы подгоняемые отчаянным ветром, под рев бьющихся об камни обских волн весело пошли в поселок...

- В какую юрту идти? - спросил псаломщик. Я указал на новенький домик старого доброго толстяка Хартаганова. Через десять минут ходьбы, пошатываясь, как пьяные, от головокружения после качки, мы входили к всегда гостеприимному знакомцу. Он был дома, по обычаю слегка выпивши.

- Узя батька, здравствуй! - слащаво шепелявя приветствовал меня остяк. - Вот беда, в какую бурю ты ехал, как Бог спас. Смотри, что делается с рекой.. Теперь к берегу боязно подойти, не то что ехать.

Я невольно оглянулся. Все небо со стороны реки затянуло темными грозowymi тучами, безостановочно менявшими свои причудливые очертания... Молния бороздила их... Свирепо грохотал гром, свистел холодный ветер, лил дождь, ревела многоводная Обь, взбрасывая высоко одну на другую грязно- желтого цвета пенистые волны... Эта красивая картина разбушевавшейся стихии, в другое время очаровывавшая меня, теперь наводила ужас... Я только что так много пережил... Махнув рукой в сторону Оби, я вошел в юрту, сопровождаемый остяком. Мне вдруг сделалось холодно, ноги стали подкашиваться, будто от усталости после долгого пешего хождения, и я, дойдя до традиционного остяцкого чувала⁸, невольно сел вблизи его прямо на грязный пол...

Сколько раз мне хотелось испытать бурю на воде. Я завидовал тем счастливым, которые могли этим похвалиться. Ведь жить при устье Оби и не попасть в переделку во время бури, казалось несколько обидным. Мое желание сегодня исполнилось, и не хотелось бы испытывать это удовольствие вторично. При одной мысли, что это более чем возможно, у меня по телу пробежала дрожь. Брр...

Каким веселым я сделался, когда налетел первый шквал. «Сейчас буду переживать прелести бури в маленькой лодке, буду проверять рассказы обитателей Оби о страхах, испытывать себя, свое бесстрашие, отвагу, столь необходимые миссионеру на далеком Севере», - думал я. Лодка высоко и плавно поднялась на волне и как-то грузно, неуклюже опустилась вниз. Мне стало жутко. Вторая волна перелетела через лодку, третья чуть не половину лодки наполнила водой... Четвертая, пятая... Вспоминать страшно. Я помню сосредоточенные взоры остяков, дружно работавших веслами. Выкрики псаломщика: «Держи направо! Налево! Прямо! Руби мачту!» Помню, как подрубленная мачта полетела в воду и в один момент была далеко отнесена в сторону от нашей ладьи. Помню, как псаломщик, опытный кормчий, оттолкнул рулевого остяка и занял его место, как во время передачи из одних рук в другие руль неправильно повернулся, лодку бросило в сторону, весла взмахнули по воздуху, гребцы попадали на дно лодки, и лодка покатила в бездну.

Был момент, когда, казалось, летевшая над нами волна захлестнет нас вовсе, но она рассеялась около нашего суденышка, подхватила его, как перышко, подняла высоко вверх и неровно сбросила опять в страшную пучину. Лодка забила, затрепетала, наполовину залитая водой, казалось, сейчас пойдет ко дну... Бывший рулевой и я откачивали из лодки воду черпалками непрерывно, выкидывали, как лишний балласт, более тяжелые вещи, остяки, изнемогая, гребли, псаломщик держал руль. Опять подхваченную волной лодку вынесло наверх. Помню страшный в это время свист ветра, мешавшийся с громовым ревом волн, бешено налетающих на нашу утлую ладью. Не могу забыть сначала тонкий скрип лодки, потом страшный треск, — чувство, будто лодка разбилась и идет ко дну. Помню, как остяки с криком полного отчаяния побросали весла, решив отдаться воле Божией. Покорность судьбе во всех, как один, взглядах, их лица, передернутые судорогами.

Я невольно бросил бывшую в руках черпалку, ухватился руками за борта лодки, зажмурил глаза. Будь, что будет. В это время раздался металлический голос псаломщика рулевого: «Дурачье, бери весла, иначе всех вас за борт вышвырну». Очнувшиеся остяки схватили посла и начали работать. В их взорах теперь светилась отвага, решимость бороться с бурей, победить ее во что бы то ни стало!

Засверкала молния, раздалась оглушительные раскаты грома, полил дождь, яростнее завыл ветер, волны удвоились в своем бешенстве, в своей силе. Лодка скрипела, трещала, взлетала на могучих волнах кверху, падала вниз, заливалась брызгами воды... А мы двигались вперед к берегу, к месту своего спасения, каждое мгновение рискуя разбиться и погибнуть.

Я взглянул на рулевого-псаломщика. Старенький и хилый, он глядел богатырем, сознающим свою мощь и силу. Ко мне вернулась доля самообладания и надежда, что доберемся до юрт благополучно. Я перевел взгляд на остяков. В их взорах также светились отвага, удаля, вера в себя. Буря усиливалась, а мы, уже подбиваемые волнами, приближались к берегу. Волны окатывали нас, заливали лодку. Мы отливали воду, пока последняя подхватившая нас волна, разбившись со страшным ревом о каменистый берег, не выкинула нас на сушу под ослепительный блеск молнии и грохот страшно загремевшего грома. Мы на берегу. В теплой юрте у весело потрескивающего чувала. Так хорошо сидеть и греться. Испытывать чувство полной безопасности.

Я оглядел юрту. Обычно производящая неприятное впечатление, она теперь показалась мне достойной внимания. Я стал осматривать ее внутреннее устройство и убранство. Входная низенькая дверь. В углу слева от дверей растапливаемый хлопотливой хозяйкой чувал - род примитивного камина, в углу справа - склад всякой посуды, состоящей из котлов, чайников, корыт и ведер, расположенных и на полу, и на полках. На противоположной дверям стене сплошные возвышающиеся от деревянного пола вершка на два или три нары, застланные татарами⁹, в головной части нар всякое тряпье и одежда, заменяющие подушки. На стене над нарами висят образки, медные и писанные по дереву, старые и прокопченные дымом. К ним аккуратно прикреплены огарки восковых свечей. В левой и правой от входных дверей стенах по небольшому окошечку со стеклянными рамами. Потолка нет. Его заменяет закопченная внутри тесовая крыша. Под ней протянуто несколько шестов для просушки мокрой одежды и сохранения от собак сухой рыбы, хлеба и пр. Стены и пол закопчены и грязный В воздухе обычный юрточный смрад, всегда позывающий к тошноте еще необтерпевшихся в остяцкой обстановке.

Полупьяный хозяин-остяк полулежал на нарах и, лениво потягивая трубку, очевидно ожидал от меня начала разговора. Его жена уже с полчаса возилась около чувала, согревая для меня большой медный чайник и варя в огромном котле рыбу для своей семьи и ямщиков, привезших меня. Около нее терлись две маленькие дочери - девочки лет семи и пяти. В зыбке, при вешенной к одному из шестов-перекладин, захлебываясь от плача, кричал младенец. Около чувала, почти рядом со мною, грелась наполовину облезлая неопределенного цвета шерсти небольшая, умильно в упор глядевшая на остячку, собачонка. По юрте бегали три преуморительных щенка. Мой псаломщик, растянувшись около нар па полу и подложив под голову руки, крепко спал. Провожатые наши отсутствовали, зайдя, должно быть, навестить своих знакомых - соседей моего хозяина.

Мне не хотелось начинать разговор с хозяином, и я был доволен его неутомимой способностью ждать. Мои мысли все еще продолжали вращаться вокруг пережитой бури, и я старался, по возможности, точно разобраться в своих впечатлениях и чувствах. По всей вероятности, я долго бы хранил отвечавшее моему настроению молчание, если бы оно не было прервано хозяйкой, объявившей, что вода в чайнике вскипела.

Я решил разбудить псаломщика. Выпить чайку и закусить следовало и ему. Мы около суток почти ничего не ели. Кроме того, ему следовало еще об сушить мокрую одежду, иначе он рисковал простудиться. Выспаться он еще успеет. С этим намерением я хотел подняться на ноги. Попытка встать оказалась не вполне удачной. Ноги отказались слушаться. Поднявшись, я почувствовал такую слабость в ногах, что сделав три-четыре шага, решил вновь усесться, чтобы не упасть. Усевшись около маленького, квадратного, низенького, вершков в пять или шесть высоты остяцкого столика, на который остячкой был поставлен чайник с кипятком, я хотел попросить остяка разбудить псаломщика. Но в это время расшалившиеся щенки пробежали по его лицу, и при общем смехе он проснулся.

- Чай готов, - сказал я своему спутнику по несчастью, недоумевающе оглядывавшемуся вокруг.

- А, ладно... Подь... этих остяков с их псами. Не могут держать их на улице, непременно в юрте держат. Чего не прогоните псов, - раздраженно обратился он к остячке. Она обиженно ему что-то ответила. Я в это время заварил чай и вынимал из небольшого, остяцкой работы корневатика, сахар, сухари, копченую и малосольную рыбу. Тут я вспомнил, что чашки наши разбиты.

- Из чего чай будем пить? - спросил я псаломщика.

- А у остяков нет, что ли?

- Спросите.

Он обратился к хозяйке. Раздосадованная недавним замечанием его, она пошла за чайной посудой, ворча. Вытащив из-под вороха всякой грязной одежды и вонючего тряпья небольшую деревянную обитую жестью шкатулку-судок, она, прикрыв плотнее свое лицо платком, медленно пошла с ней к жарко пылавшему чувалу. Здесь, открыв с особой осторожностью шкатулку, она стала вынимать бережно переложенные бумагой и тряпица ми блюдечки и чашки. Каждое блюдечко и чашку она внимательно осмотрела при огне и, должно быть, заметив на одной из чашек нечистоту, поплевав в чашку, обтерла ее грязным подолом своей не первой свежести ягушки (род халата) и молча поставила посуду на занятый нами столик. Видя это, мы не могли не рассмеяться, вновь обидев своим смехом хозяйку, недружелюбно на нас покосившуюся. Выполоскав сами в кипятке посуду, мы принялись за чай, пригласив разделить свою скудную трапезу хозяина-остяка, все еще апатично лежавшего на нарах. Подсев к нашему столику, остяк повел обычный в таких случаях разговор о рыбных промыслах, ценах на хлеб, масло и другие предметы потребления. Я не стал принимать участия в этих разговорах, надоевших своей неизменностью во время путешествий. Поддерживал беседу псаломщик, интересы которого как местного обывателя более совпадали с интересами остяка. Я же бесцельно наблюдал за остячкой с детьми, усевшимися на татарах поодаль от нас.

Остячка перетирала мужние пимы, изредка покрикивая на неугомонных щенят и любовно поглядывая на своих девочек, сосредоточенно игравших в изображавшие остяков куклы, сделанные из кусочков оленьего меха вместо одежды и с утиными клювами вместо голов. В юрте было тихо, и слащавый голос хозяина, разговаривавшего с псаломщиком по-остяцки с горловыми, шипящими и свистящими звуками, глухо раздавался по жилищу. Неинтересный для меня разговор в связи с отсутствием материалов для наблюдения действовал на меня усыпляюще. Нехотя я стал пить чай, подумав закончить свое чаепитие одной налитой чашкой с тем, чтобы прилечь вздремнуть.

Вдруг около юрты раздался веселый смех и оживленный говор нескольких остяков. Через минуту они, улыбающиеся, входили в нашу юрту. Это были привезшие нас сюда четыре остяка. Их довольные улыбки, сопровождающиеся особым блаженным блеском глаз, и редкое веселье меня сразу оживили. С шумом они подсели на пол вблизи нас. Хозяйка тотчас же подала им большущий котел со сварившейся уже рыбой и поставила перед ними большую деревянную начовку (род корыта для рыбы и мяса). Весело болтая, всецело завладев общим вниманием, принялись провозятые за угощение. Они обменивались впечатлениями от пережитых за свою жизнь опасений и страхов на воде. Высмеивали друг друга, подшучивали над псаломщиком и мною. Наперебой рассказывали случаи из своей жизни, когда им приходилось попадать в подобное же положение, но не в больших сравнительно, как наша, лодках, а в маленьких - колыданных, в которых неопытному пловцу не переплыть Обь и в хорошую безветренную погоду, когда на реке полное спокойствие, когда вода кажется застывшей. Указывали, как мало бывает случаев гибели остяков в водах их кормилицы Оби, как велик процент в этом отношении среди русского населения. Я невольно любовался этими забитыми с виду, заморенными по наружности, северными человечками, как утверждают, угасающими (вымирающими) под напором русской культуры с ее отрицательными сторонами.

Остяки доставали вареную рыбу из котла большими деревянными ложками и уничтожали ее, неочищенную, прямо с чешуей и внутренностями, с невероятной быстротой выплевывая кости в находящуюся при них начовку. Покончив с рыбой, один из остяков вынул мешочек с табаком и вотлебом¹¹ и, заложив немного табаку за губы, прикрыл его вотлебом. К заманчивому мешочку потянулись руки прочих гостей и, поплеывая, все остяки без исключения последовали примеру своего товарища. Между тем, приняв от гостей начовку с рыбьими костями, хозяйка начала растирать их одной из ложек. Превратив кости в массу, она переложила её в котел с оставшейся в нем несъеденной ухой, замесила все это ржаной мукой, подлила немного свежей воды и, привесив в чувале на огонь, присела около него для наблюдения за варкой этого любимого остяками кушанья - бурдука.

Остяки продолжали весело болтать, рассказывая друг другу мелкие случаи из своей бедной событиями жизни. Остяцкие девочки теперь бросили свои куклы и принялись забавляться другой игрой, если это можно было назвать забавой. Они раздобыли четвертную бутылку и полуразбитую чашку и начали изображать из себя пьяных. Девочка постарше держала около горлышка пустой бутылки чашку, меньшая, наклоняя к ней бутылку, уморительно булькала и смотрела своими добрыми глазенками на старших, которые, к огорчению её, не замечали этой игры. Но вот бутылка отставлена от чашки, будто бы наполненной водкой, маленькая девочка сделала вид, что выпивает, отплюнулась и начала завывать, подражая пению пьяных своих отцов: ого-о, ого-о. Её маленькая сестренка захлебывалась от смеха. Я обратил внимание остяков на эту забаву. Они, к большому удовольствию все время сумрачной матери остячки, дружно рассмеялись. Теперь и на ее лице появилась мягкая улыбка и заискрились глаза от полноты материнских чувств от умной игры ребятишек.

- Разве хорошо позволять детям так играть? - обратился я к присутствующим. - Ведь эта игра не может привести к добру. Детей надо приучать к мысли о том, что пьянство вредно, что оно портит здоровье человека, губит его в отношении материальном. Почему остяки бедны и хворы? Потому что неумеренно пьют. Пропивают последние гроши и потом сидят без хлеба и голодают. По необходимости тогда лезут в долги...

Все остяки, не исключая и остячки, удивленно смотрели на меня во время обращения к ним, широко открыв глаза. Когда я окончил свою маленькую речь, они так заразительно расхохотались, что и мне самому стало смешно.

- Ты говоришь, - обратился ко мне один из более поживших остяков, что пить худо. По-твоему - худо, по-нашему - хорошо. Если бы пить было худо, то не пили бы и вы, русские. Ведь вы же пьете не хуже нас. Пьете и работаете. И мы работаем и пьем. И живем. Пить худо? Нет, пить хорошо. Напьешься, весело станет. Умирать пьяному легче...

Внимательно выслушав остяка, я ничего не стал ему возражать. Остяк еще долго толковал на эту тему, а я отдался своим думам по этому же вопросу под неугомонный смех девочек, продолжавших играть в пьяных...

Почему инородцы Севера пристрастны к вину? Обыкновенно это объясняют постоянно низкой температурой летом, отчаянно крепкими морозами продолжительной зимой. Утверждение это не выдерживает критики. Многие из северян наблюдают, что лучшим способом согревания зимой после продолжительного путешествия от одного чума до другого, когда сильный холод пронзает человека чуть не насквозь, служат замороженная сырая рыба или оленье мясо. Достаточно немного скушать строганины, и тепло разольется по всему телу.

Я слышал рассказ одного Обдорского обывателя, что, поехав однажды зимой в компании за рыбой в старой малице, он страшно промерз на остром северном ветру. С нетерпением ожидал он, когда вытащат гимгу (морду) с рыбой, водворят ее на место и поедут домой. У него стали коченеть ноги. Холод пронизывал грудь и спину. Мало помогали ему попытки обогреться размахиванием руками, подпрыгиванием и даже беготней вблизи промыслового места. Вытаскивая из проруби гимгу, рыбаки над ним

подтрунивали, но, видя, что он серьезно озяб, вытащив гимгу и вынув из нее рыбу, посоветовали ему скорее скушать хотя бы немного рыбы. Он принял это за шутку и лишь после неоднократных уверений, что свежая, только что замороженная рыба может согреть его, он боязливо последовал совету. Доедая рыбу, он уже чувствовал, как тепло заходило по всему его организму, а минут пять спустя он и вовсе обогрелся. Неспроста же инородцы Севера зимой сначала угощают продрогших своих гостей замороженной сырой рыбой или мясом и потом уже поят чаем.

Холод не может влиять на усиление потребности к алкоголю. Алкоголь для северян скорее необходим как средство наркотическое, одурманивающее, дающее возможность на время забыться, переселиться из монотонно-однообразной и пошлой действительности в мир грез и видений. Очень немногие инородцы курят табак. Достаточно же одному из них закурить, как все пытаются сделать то же. Непривычные курить - курением себя дурманят. Северянам нашим нужен алкоголь не как таковой, а как дурман. Слишком проста, несложна их жизнь, связанная с исключительной заботой всегда быть тепло одетыми, сытыми, хорошо спать, правильно отправлять все функции жизни животной. У них дремлет дух, умственные их силы принижены, северяне не могут подняться от земли, возвыситься над земным. В атмосфере, их окружающей, они задыхаются и не могут найти потребного выхода. Не мудрено, что ищут его в дурмане. Более же действительным дурманом является алкоголь.

Размышляя так, я невольно вспомнил остяка, недавно сказавшего мне: «Пить худо? Нет, пить хорошо. Напьешься, весело станет. Умирать пьяному легче». Алкоголики ли остяки, вновь задавал я себе вопрос и приходил к выводу, что - нет, с полным сознанием того, что борьба с пьянством среди них немыслима, пока не будет дано движение развитию их духовных сил.

Я обернулся в сторону остяков. Они уже доедали лакомый бурдук, неаппетитно причмокивая губами. Один из них сладко зевнул и, положив в начовку ложку, перешел на нары, где скоро заснул крепким сном. Его примеру последовали другие. Остячка, накормив дочерей, улеглась с ними спать в сторонке. Псаломщик спросил меня, что будем делать, так как раньше вечера остяки не повезут нас дальше. Я предоставил ему располагать собой по его усмотрению. Он улегся спать, а я, вынув наполовину вымоченную тетрадку, стал записывать впечатления от проведенного времени...

Было около 7 часов вечера, когда проснулась хозяйка и сейчас же пошла разжигать в чувале огонь для варки пищи. Опять был подвешен большой чугунный котел с рыбой, поставлены прямо на уголья чайники. В юрте запахло варившейся рыбой. К сидевшей у чувала остячке, ласково виляя хвостами, подошли собаки. Проснулись и подняли шум дети. Я разбудил псаломщика. Один за другим стали подниматься остяки. Псаломщик попросил остячку согреть нам чайник. Оказалось, что она догадалась это сделать и сама, и мы вскоре сидели за чаем, наблюдая встающих остяков. Один из них, никого не стесняясь, стал вылавливать в своей одежде насекомых.

В это время остякам подана была сварившаяся рыба, и они принялись за уничтожение ее, окончившееся чаем с ржаным хлебом и варкой. Несъеденные рыбы кости на этот раз остячкой были отданы собакам в той самой начовке, из которой едят и люди. По обычаю, во время чаепития остяки оживленно говорили. Предметом разговора была старая тема о буре на Оби. Затем пошли рассказы о рыбных промыслах и охоте; потом долго тянулись воспоминания о различных выпивках и общих пьянствах...

Скучно было слушать нескончаемый говор остяков все об одном и том же. Но о чем же еще они могли бы между собой толковать? Все их прошлое и настоящее до сих пор не выходило за границы забот о поддержке физического существования. Только воспоминания о пьянстве и могли внести разнообразие в беседу. И вместе с тем эти воспоминания о пьянстве, должно быть, немало пробуждали позыв выпить и напиться до потери сознания.

Были бы у них шире интересы, и жизнь у них сложилась бы иначе. А то течет она, печальная, медленно и монотонно до мелочей. Остяк почти знает наперед, чем начнется и окончится завтрашний день. И пусто у него на душе, и грустно ему, и скорбно. Говорят, глаза - зеркало души. Вглядитесь во взгляд любого остяка. Сколько в нем покорности и печали...

Уже становилось поздно. Надо было поторапливаться ехать. Мои утренние провожатые отложили свое возвращение до завтра и уже вновь спали. Наши новые подводчики еще не собрались в путь. Пришлось послать, чтобы поторопить их со сборами. После долгих хождений по разным юртам псаломщик сообщил мне, что к выезду все приготовлено. Поблагодарив хозяина за гостеприимство, я вышел из его юрты. Погода была чудесная. Тепло и, главное, тихо на Оби. Я отправился на берег, напутствуемый добрыми пожеланиями остяка-хозяина.

Часть 12. В Обдорском городке

В большом торговом русско-зырянском Обдорске существует Обдорский городок. Даже из среды местных колонистов мало кто знает о нахождении этого маленького городка. Он затерялся на задах Обдорска под горой, омываемой рекой Полуй. Принадлежит он остякам и во много раз старше русского Обдорска. В древности он занимал западный склон Обдорской горы, а теперь занимает южный. Остяки не хотели, как и теперь не хотят, мешаться с русским населением и, теснимые им, добровольно перенесли логовища свои на другое свободное место. По имени древнего Обдорского городка вся область крайнего северо-запада Сибири названа была Обдорской и даже обращена была в Обдорское княжество во главе с остяцким князем из рода Тайшиных. Обдорский городок в былые времена играл большую роль в жизни инородцев Крайнего Севера. Здесь находилось знаменитое языческое капище остяков. Сюда стекались остяки-паломники для молитвы. Здесь обсуждались остяками вопросы войны и мира с воинственными тогда самоедами. Из остяцкого Обдорска давался в свое время отпор русской колонизации на Крайнем Севере.

От языческого капища остяков Обдорского городка теперь, конечно, не осталось никаких следов. Но место его известно. На нем стоит ныне четвертый по счету миссионерский храм. Впервые выстроенный в самом начале XVII столетия, он уже более 300 лет удовлетворяет духовным потребностям инородцев-христиан. К храму этому с благоговением относятся все инородцы и даже язычники.

В нынешнем Обдорском городке достопримечательностей никаких не имеется. Достопримечательно лишь самое название его - «городок». Достопримечательно для городка, пожалуй, и то, что в Обдорском селе почти никто не знает об Обдорском городке, - так он незначителен и незаметен.

А между тем самолюбивые обитатели его, подавляемые массой русского населения, не хотят склонять перед пришельцами свои выи и открыто заявляют: «Вы - русские и будьте ими. Мы - остяки и такими останемся». При таком упорном стремлении к сохранению своего племенного «я» и умении при незначительности самого населения отстаивать свою самобытность, казалось бы, что достопримечательностью городка должны быть сами его обитатели. Попробуйте, однако, высказать такое предположение в русском Обдорском селе, знающем остяцкий Обдорский городок и его природных обитателей, и вы рассмеетесь, глядя на вытянутые от удивления лица своих собеседников.

Я не стану больше строить предположения о возможности наличности достопримечательностей в древнем Обдорском остяцком городке из боязни, что читатель может утомиться. Лучше поведу его в самый городок. Для этого надо пересечь все Обдорское село по главной его Миллионной улице. Летом от пристани приходится подыматься на Обдорскую гору по лестнице, ведущей прямо к миссионерскому храму, а зимой, сюда же, по особому взвозу, затем следует идти прямо до конца этой лучшей в

Обдорске улицы. Здесь с правой стороны будет старое русское кладбище, а слева начнется ярмарочная площадь, на которой в январе бывает официальная знаменитая пушная ярмарка. Пройдя старое кладбище, мы повернем направо, оставив позади себя ярмарочную площадь, и сразу же попадем в Обдорский остяцкий городок. Мой спутник немало подивится, услышав от меня, что мы уже в городке, топчем его землю. Кругом не видно ни домов, ни улицы, ни даже нужных для ходьбы тропинок. Но я с городком и его обитателями хорошо знаком и покажу в нем все доброе и дурное. В этом заключается цель настоящего очерка.

Обдорский городок состоит из 25-30 землянок и самых жалких, едва возвышающихся над землей лачуг. Строения в нем не скучены, как в Обдорске, а раскинуты в разных друг от друга направлениях, преимущественно во впадинах, спускающихся к реке Полуй, горы, откуда более легко и удобно пробираться за водой на берег. Все землянки и лачуги похожи друг на друга и далеко не всегда сразу можно узнать в них человеческие жилища, особенно на Крайнем Севере, где долгую зиму стоят студеные морозы. Правда, Обдорский городок имеет большое преимущество перед Обдорским селом. Он расположен вне влияния злейших врагов красиво раскинутого на горе села - северных и западных ветров. Может быть, благодаря только этому, и можно еще со всеми неудобствами ютиться в городке людям, даже не привыкшим считаться с какими бы то ни было удобствами.

Я не стану описывать наружный и внутренний вид всех лачуг и землянок городка - вся существенная разница заключается в местоположении и относительной величине и чистоте жилищ. Характерной особенностью городка является еще то, что не все жилые строения его соединены между собой хотя бы узкими тропинками. Если имеются они, то обычно от жилья к реке, куда приходится ходить за водой, и вверх на гору к селу, где по необходимости надо изредка появляться за мукой, хлебом и другими необходимыми в жизни продуктами.

Землянка. Она расположена под одним из откосов волнообразной горы. Ее почти незаметно. Три четверти ее в самой горе. Обнаруживает себя только южная сторона землянки из тонких жердей, с низенькими дверями, едва позволяющими взрослому человеку проникнуть в них. Но и эта стена, почерневшая от времени и непогоды, не бьет в глаза. Почти черный ее цвет сливается с такого же цвета откосом горы. Трубы на землянке не видно. Надо подняться на откос, ступить на ее крышу, вернее, верх, чтобы увидеть небольшую, едва приметную железную трубу.

Около землянки ничего и никого нет. Она будто пустует. Но ее двери не заколочены, и вы, крепко ухватив прибитую вместо дверной ручки веревку и сильно потянув ее к себе, распахиваете дверцу. Вас обдает такой спертый и вонючий воздух, что захватывает ваше дыхание, и вы останавливаетесь в серьезной нерешимости - входить в это обиталище бедности и нужды или нет. Превозмогши отвращение, под окрики жильцов, чтобы скорее заперли дверь, вы геройски решаетесь войти. В недоумении, затрудняясь способом прохода в низенькую и узкую дверь, снова останавливаетесь. Наконец, обдумав, вы просовываете в дверь одну ногу, согнувши в три погибели свой корпус, проводите в жилище свою голову и делаете попытку перенести сюда же другую ногу, чтобы всем существом своим очутиться в землянке. В это время совершенно неожиданно к вашему лицу подскакивает с злым ворчанием собака. Вы инстинктивно откидываете от собаки назад голову, ударяетесь ею в дверной косяк, от сильной боли произвольно отшатываете голову обратно в землянку и своим лицом ударяетесь в мягкую собачью морду. Собака с лаем отпрыгивает от вас, чтобы сейчас же сделать на вас новое нападение. Соображая это, вы стремительно передвигаете свою вторую ногу в землянку и выпрямляетесь.

От страшного удара в низкий потолок головой вы приседаете на корточки, с трудом отдавая отчет в случившемся. За вами кто-то, ругаясь, захлопывает дверь. Вы оглядываетесь кругом и видите смеющиеся лица старой, как сморчок, беззубой остячки и

пожилого, оборванного и пропитанного спиртом остяка. В землянке почти темно. Слабый свет из крошечного окошечка с южной стороны дает все-таки возможность разобраться в обстановке. Вы прежде всего стараетесь отыскать своего первого в землянке знакомого и уже врага - собаку. Она выглядывает из-за спины старухи злым взглядом, с весьма неприятным оскаливанием острых зубов. Зная местонахождение - собаки, вы уже безбоязненно рассматриваете внутренность жилища.

В углу, с левой стороны от дверей - небольшая железная печка. Около нее на щепках небольшой чугунный котелок и жестяной чайник. Прямо против дверей, почти вровень с земляным полом - нары для спанья. Они застланы полуоблезшими оленьими шкурами, в головах свалена всякая рваная одежда. Над нарами на стенке законченная не то бумажная икона, не то картина. Вся землянка не более четырех квадратных аршин. Вы с интересом смотрите на предательский потолок, чтобы определить высоту землянки. Она, оказывается, не превышает двух аршин. Стены и потолок будто вымазаны сажей - так черны они. Остячка и остяк сидят напротив вас рядышком на нарах. Они не без удивления смотрят на вас, будто желая спросить, зачем пожаловали.

Вы начинаете расспрашивать их о жизни. Старуха, исподлобья глядя на вас, упорно молчит. Остяк охотно отвечает на ваши вопросы. Вы узнаете, что 90-летняя старуха - его мать. Он вдовец и имеет двух детей - девочку восьми и мальчика пяти лет. Дети побираются Христовым именем в Обдорске, так как, по словам остяка, в селе отсутствует какая бы то ни была для него работа.

Вам становится понятно положение этой семьи. Пьяница-отец, отбившийся от всякой работы, проживает на нищенский промысел своих детей, испивающих полную чашу холода, голода, всяких толчков и подзатыльников как от посторонних, так и от своего родителя. Нельзя же допустить невозможность получения хотя бы какой-нибудь работы в торговом с миллионным оборотом Обдорске. Вы, подав остячке на ее нужды двадцать копеек, торопитесь выбраться отсюда, так как кроме страшной головной боли от ударов головой вы ощущаете сильное головокружение еще от специфической остячкой вони, стеснение в груди от отсутствия кислорода.

Вы открываете дверь, полной грудью вдыхаете свежий, холодный воздух и со всевозможными затруднениями выкарабкиваетесь из землянки. Окидываете ее прощальным взглядом и с самыми тяжелыми чувствами спешите от нее отойти подальше, чтобы ее с ужасной ее бедностью и страшными пороками больше не видеть...

Вы опять на землях городка. Оглядываясь кругом, ищете другую землянку или лачугу для наблюдений. Вам хочется скорее разогнать мрачные впечатления, навеянные посещением первой в Обдорском городке землянки. Вдали увидели вы что-то вроде штабеля тонких 2-саженных бревен, чем-то прикрытых сверху. Это оказывается юрта, мало похожая на обычную остячку. Вы оглядываете ее с любопытством. Это сруб, положенный на мох, сверху забранный досками, закрытыми землей и дерном. В одном из углов верха сиротливо выглядывает невысокая железная труба. С одной стороны маленькая дверца для входа внутрь юрты, с двух других противоположных стен юрты но небольшому окну со стеклянными рамами. Около юрты небольшая для собачьей запряжки нарта и деревянное ведро с водой.

Смело открывая дверь, вы входите со всеми предосторожностями, что бы не добить уже и без того больную голову. В самой крошечной, без окна, отделенной от общего помещения тощей перегородкой клетушке, должно |быть, изображавшей сени, вы путаетесь при отыскании прохода в переднее помещение. На выручку явилась к вам остячка, выходящая из юрты и оставившая дверь открытой. Вы входите, слегка задев волосами потолок. Проходя вперед, стучаетесь лбом о потолочную перекладину, у вас сыплются из глаз искры, и вы от неожиданного удара садитесь прямо на пол - по-остячки, как человек, уже хорошо знакомый с укладом инородческой жизни. В помещении бьющий в нос запах спирта и человеческих испражнений. Вы оглядываетесь вокруг себя. Первое, бросившееся вам в глаза, было открытие, что уселись вы прямо на рвоту вблизи

лежавшего в беспамятстве от пьянства остяка с подбитым глазом и окровавленным носом. Вы с омерзением вскакиваете и видите, что кругом вас вповалку лежат пьяные мужчины и женщины и даже дети. У вас кружится голова, и вы торопитесь выбраться с твердым решением окончить этой юртой осмотр лачуг и землянок Обдорского городка. В сенях вы спотыкаетесь о пьяное тело открывшей вам вход в юрту женщины, перелетаете через нее, выскакиваете на улицу и только здесь под действием холодного воздуха приходите в себя. Вы обчищаете с себя носовым платком грязь и торопливо поднимаетесь на гору к кладбищу, из-за которого уже легко попасть к себе на квартиру.

И вы хорошо сделали, что оставили осмотр Обдорского городка и розыск его достопримечательностей. Достопримечательного, более того что вы видели, вряд ли можно сыскать в городке. Уверяю, что все землянки, юрты и лачуги городка одного вида и типа. По двум осмотренным можете судить о прочих. То же самое хочу сказать и о коренных обитателях городка. В двух жилищах вы видели их. Такими же вы их найдете и в других жилищах городка, если только не хуже. Видеть последнее вряд ли вам улыбается. В таком случае, доверьте мне к вашему опытному осмотру Обдорского городка сделать несколько дополнений.

Теперь в городке повальное пьянство, так как инородцы получили расчеты от своих хозяев по случаю окончания рыбных промыслов. Это пьянство будет в городке продолжаться, пока все деньги не будут пропиты. А потом? Потом будут изыскиваться средства для добычи денег... Средства, общепринятые в Обдорске... брать в долг и не платить... Это так обычно у нас. Деньги опять будут пропиваться, и будут снова изыскиваться средства... И так до открытия новой навигации, до начала новых летних промыслов. Отцы-инородцы будут почти все время пьянствовать, матери страдать за семьи и с горя тоже... пить. Дети Обдорского остяцкого городка, жалкие, худенькие, в рваных одеждах, промерзшие, постоянно голодные, всегда будут ходить по домам обывателей Обдорского села. Из многих домов их, несчастных, будут прогонять, и день-деньской до позднего вечера они будут шататься из дома в дом, из улицы в улицу, из одного края Обдорска в другой и обратно. Голодные и холодные, они будут возвращаться в дом своих родителей, чтобы с утра вновь уходить за сбором подаяний... И целую долгую и суровую зиму они будут лить слезы нужды и обиды за **незаслуженные** страдания, за грехи своих отцов, за грехи культуртрегеров...

Часть 13. У старого остяка

Уже трое суток качается наш каюк на сердитых водах Оби, а мы еще не попали в Кунжольские юрты, где предстояла третья смена подводчиков для дальнейшего нашего плавания от Обдорска вверх по реке. Особенно тяжело пришлось теперешним нашим гребцам. Нужно было двигаться против течения при встречном ветре. Мы ехали на веслах, тащились на бечеве, опять на веслах, снова на бечеве. Несколько раз отдыхали на берегу под открытым небом. Трогались в путь. Останавливались. Надеялись на перемену ветра. Отчаивались. Утешали себя, что все равно доберемся до Кунжол. И нам было и досадно, и смешно, и безразлично. Какие настроения мы только не пережили в двухсуточный перегон каких-то 35 верст! Но мы их не проехали. Еще оставалось впереди пять верст. И эти пять верст нас страшили гораздо больше памятных десяти, когда в виду Обдорска мы на чистом плесе качались целую неделю, не имея физической возможности двинуться с места.

Все это было тогда, два года назад, вблизи самого Обдорска, а теперь? Правда, мы находимся недалеко от него, не больше чем в 80 верстах. Доехать туда при попутном ветре не представляет затруднений. Нам же расстояние надо было учитывать иначе. По маршруту предстояло проехать 400 верст, и каждая непредвиденная остановка в пути отдаляла от нас время возвращения. Поэтому мы боялись усиления ветра, который мог наше, по расчету; двухнедельное путешествие продлить на три и даже четыре недели. Нет

ничего несноснее, чем сидеть в каюке без всякого дела. А препятствия во время перегона лодки от одних до других юрт отбивают всякую охоту чем-либо заниматься. Никакое дело не клеится. Всякая работа из рук валится. Тогда целые часы лежишь в каюке или часами сидишь на крыше каюка, бесцельно смотришь на крутящиеся волны и почти ни о чем не думаешь. На душе становится тоскливо. Начинаешь чувствовать себя разбитым и больным. На все раздражаешься и сердишься...

Я сидел на крыше каюка и вглядывался вдаль, ожидая увидеть юрты, внюхивался в воздух, думая обонять юрточный запах, обыкновенно расстилающийся на несколько верст кругом. Лодка, невзирая на дружную работу четырех здоровых остяков, подавалась вперед так туго, что казалась прицепленной на якорь. И все-таки она двигалась. Остяки давно бы бросили работу, если бы она была бесцельна. Они же гребли безостановочно...

Вскоре донесся давно жданный запах юрт. Они близки. Скоро показались и сами красиво разбросанные на высокой лесистой горе юрты. Дружная работа инородцев усилилась... Еще полчаса, и наш каюк, легко вздымающийся на волнах, при громких криках усталых остяков плавно подошел к берегу. Почувяв чужих людей, залаяла собака. Ей начала вторить другая, третья. И скоро все юрты огласились отчаянным лаем чуть не сотни псов, по-своему приветствовавших наш приезд. Полусонные остяки повывлезали из своих юрт взглянуть на приезжих, и мы, встречаемые знакомыми остяками, отправились в один из самых отдаленных в юртах домик благодушного остяка-старца, любившего вести с НАМИ беседы и умевшего располагать к нам юрточное население

Хотя хронометр показывал четыре часа пополудни, наш знакомец спал сном праведника. Мы приказали не будить его и занялись разборкой вещей. Мы успели выпить чаю и обойти все юрты, пока старец-хозяин проснулся. Поглядывая на нас доверчивыми глазами, он поздоровался и стал расспрашивать о пути. Нам нечем было хвалиться и мы коротко описали ему свои путевые неудачи. Старец, молча выслушав нас, посоветовал переждать непогоду в юртах, чтобы самим не раздражаться в пути и не мучить понапрасну ямщиков.

- Я старый человек, много видел и много знаю. Старики научили меня угадывать по разным приметам погоду. Завтра к утру, она переменится, и вы спокойно отправитесь дальше, - заключил он свой совет,

Дальнейшее путешествие при данных условиях не представлялось интересным. и совет остяка, к его удовольствию, был нами принят.

Темные августовские ночи уже вступили в свои нравы. В юрте едва брезжил свет от потухавшего чучала. Мы внимательно слушали старца о неулове в это лето рыбы, - признаке возможного голода, если надолго затянется осень. Медленно, спокойным тоном он сообщал нам о всех новостях в его поселке. И тихая речь старца о несложных событиях в простой остяцкой жизни вливалась в душу, овладевала умом и сердцем. Мы видели перед собой доживавшего век остяка-старца, глубоко любящего своих братьев и ту жизнь, которой они живут, со всеми ее горестями и страданиями. В теплых словах его светилась вера в возможность возрождения его соотчичей, почти павших в неравной борьбе за существование с пришлым людом, явившимся в страну с пошлыми идеалами рынка: «не обманешь - не продашь». Он видел залог обновления жизни своего племени в духовной его мощи. Указывал на 300-летнюю, успешную борьбу остяков за сохранение своей самобытности.

- Покажи мне остяков, ставших русскими, - говорил он. - Покажешь? Те, ученые остяки, разве они - русские? Правда, они не остяки, но и не русские. Они никудышники. Отстали от наших, не пристали и к вашим. Я же покажу тебе примеры, когда русские становились остяками, начинали жить по-остяцки, ничем не выделяясь от прочих. Ты сам это знаешь.

Он глубоко убежден был, что если русская народность не сумела духовно повлиять на остяцкое племя, не смогла воспринять его в себя и если последнее до сих пор находило в себе довольно силы отстаивать свою самобытность, то оно найдет внутри самого себя

новые источники к оправлению от того ущерба, какой оно теперь несет от близкого соседства с промышленным русско-зырянским людом.

- Русские люди и зырянские - наши гости, а не хозяева, - горячо продолжал старик. - Куда денутся русские в крае без нас, остяков? Их кормим мы, а не они нас. По его мнению, счастьем было для русских, что они, остяки, остаются верными заветам своей седой старины, крепкими в своей суровой жизни, хотя широко пользоваться всем, что дает им родная, недоступная культурным людям тундра. Разве мог бы русский сам эксплуатировать природные богатства остяцких земель? Для этого нужно было бы постоянно жить в тундре. Разве может русский, уже избалованный комфортом, жить круглый год в тундре? Для этого ему надо отрешиться от своей жизни, забыть ее, всей душой полюбить тундру, бесконечную, вольную. Для этого ему, русскому, надо стать остяком или самоедом. Стать привычным к легкому перенесению всех неудобств и тягестей кочевого быта. Быта, всегда полного всевозможных опасных случайностей, рискованного для физического здоровья, губельного для развития духовных сил.

- Укажи мне русских, которые не то чтоб кочевали со своими оленьими стадами в тундре, а хотя бы таких, которые могли бы без провожатых инородцев сами ездить по нашим землям. Знаю, ты укажешь на двух таких. Третьего не отыщешь. А вас, русских, у нас живет много, поди больше тысячи. Вы боитесь жить одной с нами жизнью, - развивал свои мысли старец, - жизнью, если и опасной и страшной, то все же заключающей в себе много приятного, здорового, свежего. Жизнь, дающей возможность добывать средства для пропитания и даже богатства. Только в тундре и является возможность иметь большие олени стада, добывать дорогого зверя и даже рыбу. Вы свою жизнь в домах предпочитаете нашей. Живете отдельными поселками. Хотите, чтобы и мы жили по-вашему. Но что же тогда будет? Мы станем ленивы, как вы. Не станем жить в тундре, забросим ее на произвол судьбы, чем тогда будем жить? Река Обь всех не прокормит. Оставьте нас со своими советами и опекой в покое. Мы в вас не нуждаемся. Если бы вы не вмешивались в нашу жизнь раньше, она, быть может, текла бы теперь иным руслом. Руслом здоровым, способствовавшим нашему развитию, которое вы, неопытные опекуны, затормозили. Задержали на многие и долгие годы. Но в нас еще имеется сила. Вы утверждаете, что мы, остяки, вымираем, гибнем. Это неправда. Мы жизнеспособны. Наше население хотя медленно, но увеличивается. Вы стараетесь свою опеку над нами обосновать утверждением, что сильный поборет слабого, культура высшая поглощает низшую, нация здоровая - больную. Но мы, слабые, осторожны с вами, свою низшую оберегаем от вашей высшей культуры. Если мы больны, то и вас нельзя признать здоровыми. Мы мертвецы, но не для себя, а для вас с вашей культурой. Оставьте нас, дайте передохнуть от ваших забот о нас, и мы оправимся. Ведь мы сумели остаться остяками, невзирая на многократные ваши попытки превратить нас в русских...

Было уже светло, когда я вышел от остяка с намерением пойти на ночлег к себе в каюк. По дороге я передумал отдыхать. После этой живой беседы с остяком-старцем все равно не заснул бы. И я принялся бродить по сухому берегу, стараясь по возможности точно припомнить все им высказанное. Солнце уже высоко поднялось на небе, и теплые лучи его согревали спокойные воды Оби. Ветер уже давно утих. Погода стояла великолепная. А я все время ходил по берегу и думал... И только когда псаломщик сообщил мне, что гребцы торопят меня с отъездом, я поспешил в юрту старца-остяка, чтобы пожаг ему руку. Быстро спустился с горы прямо к каюку и через пять минут плавно ехал по зеркальной поверхности будто застывшей в своем течении Оби.

Часть 14. У рогов

От последнего чума до Обдорска оставалось около сорока верст. Самоеды сокрушались, что им придется сделать этот большой перегон без смены оленей, так как впереди не предвиделось больше никаких чумов. Правда, для них как кочевников эти 40

верст ничего не значили, если бы их призывали дела в столицу самоедского царства - Обдорск. Для них ничего не значат и сто и двести верст для самых пустяковых потребностей, например ради четверти ведра водки. Но они накануне вернулись из Обдорска, прожив в нем чуть не трое суток и пропив все вырученные от продажи шкурок дикого зверя деньги. В Обдорске им нечего было делать. Ехать туда без всякого товара и без копейки денег - ехать попусту. Они уже успели побывать в домах всех своих друзей и даже завести много новых знакомств. Они уже надоели своим друзьям и знакомым до того, что многократно выпроваживались из дверей домов и выгонялись из дворов на улицу. Раза два за чрезмерную назойливость к торгующим им попало порядком. Из дома одного зырянина они были вышвырнуты с такой силой, что минут десять, лежа на снегу, не могли очухаться. А у русского друга их попросту поколотили. Ходили они жаловаться, но не нашли управы. Их и выгоняли, и били без свидетелей; самим же им мало было веры - уж в очень нетрезвом состоянии они находились.

- Что теперь мы будем в Обдорске делать? - В сотый раз задавали они друг другу вопросы. - Куда пойдем, что купим?

Я сидел на корточках в чуме около костра за чаем и рассеянно слушал эти переговоры двух своих ямщиков, у которых еще до сих пор не вышел из головы хмель. Вся эта история так обычна у нас. Она повторяется чуть не с каждым бывающим в Обдорске самоедом, только с незначительными вариациями. А самоеды не унимались своими думами вслух.

- Пойти в Обдорске к этому? У него пять раз побывал. Пойти к тому? Опасно из-за долга. Как явиться хотя без одной песцовой шкуры? Три года не платил ему денег.

- А много ты ему должен? - спросил я.

- Ерам, - последовал ответ, - не знаю.

- Как же так, долг имеешь, а количество его не знаешь? На тебя твой кредитор может насчитать лишние деньги. Свои долги помнить следует.

Самоед промолчал. Его товарищ бесцельно смотрел вверх чума, куда будто нехотя, медленно подымался дым из плававшего ярким пламенем костра. Воцарилось минут на пять общее молчание. Все о чем-то думали. Я же о том, чтобы скорее добраться до своего жилища. Трехнедельное путешествие меня сильно утомило. Частые заезды в чумы кочевников-самоедов, прокоптелые и грязные, опротивели. Крепкий, все время тридцатиградусный мо

роз, на котором приходилось дышать и днем и ночью, сделался несносен. Меня перестали волновать даже дивные виды тундры зимой, всегда производившие неотразимое впечатление. Все мысли мои теперь возвращались к Обдорску, в который самоеды неохотно собирались ехать.

«Будут медленно везти, - думал я. - Делать им там нечего. А до моего желания скорее попасть к себе им еще меньше дела». Торопить их сборами я не хотел. Это могло раздражить их. Они тогда могли нарочно начать медлить. В этом случае гораздо лучше выждать молча, не подавая виду, что спешишь. Как бы в подтверждение этого решения я вспомнил курьезный случай с одним из тобольских губернаторов, который, прозябши на жестоком январском морозе, начал подгонять своего ямщика-остяка. «Вези скорее, поторапливайся», - несколько раз раздраженно сказал он остяку. Остяк, приостановив оленей и обернувшись в сторону губернатора, с обычным у северян спокойствием ответил: «Погоняй скорей? Куда твое благородие спешишь? Доедем. Погоняй скорей? Десятский ревет - погоняй скорей - потому боится стражника. Стражник ревет - погоняй - боится заседателя. Заседатель ревет - боится исправника. Исправник ревет - погоняй, погоняй - потому твоего благородия боится. А ты какого лешака боишься? Доедем»... И, обернувшись к оленям, пустил их легкой рысцой, бормоча: «Погоняй скорее? Ладно, доедем. Не реви напрасно».

В это время разговор самоедов привлек мое внимание. Жена одного из ямщиков напомнила мужу, что в эту зиму они не отвозили оленьих рогов к находящемуся

приблизительно в двадцати верстах от Обдорска по зимней самоедской дороге ручью, прозываемому Хоронэуподы.

- Надо свезти, - ответил ей муж. Я тотчас же начал расспрашивать самоедов о причинах установившегося у них обычая свозить олени рога в одно место в одну кучу, при проездах всегда привлекавшую мое внимание. Самоеды рассказать сначала отказались, и только после продолжительных упрасиваний сообщили интересную легенду.

- Много-много, - рассказывал самоед, - прошло с тех пор над землей лун, как самоеды воевали с остяками. В Обдорской земле тогда еще не было ни зырян, ни русских. Остяки выходили для войны с самоедами к большому сору, именуемому Вангада. Благополучно оканчивая битву, остяки относили головы побежденных самоедов к ручью Хоронэуподы и, как свои трофеи, втыкали их здесь на колья. Впоследствии самоеды стали приносить здесь жертвы или просто при поездках из тундры в Обдорск оставлять олени головы с рогами.

Я спросил объяснения значения с религиозной языческой точки зрения этого обычая.

- В честь церкви, - последовал неожиданный ответ.

- Которой?

- Деревянной, миссионерской.

- Почему?

- Она видна с рогов.

Этот короткий и простой рассказ самоеда навел меня на массу размышлений. Самоеды ушли ловить оленей, чтобы ехать в Обдорск, а я, сидя у потухавшего костра, стал думать. Загнанные более многочисленным и сильным остяцким племенем на Крайний Север, самоеды не хотели мириться со своим положением. Они двигались в незапамятные времена на остяцкий Обдорск, чтобы отвоевать себе отнятые у них остяками земли с богатой рыбой рекой Обью. Они бились с остяками и, поражаемые ими при соре Вангада, оставляли убитых своих товарищей на дикое поругание победителей. После заключавшегося мира родственники направлялись к ручью Хоронэуподы, где слагались головы их отцов и братьев, чтобы помолиться за них и принести душам их дары бедной природы Севера - оленей, - все, чем могли они почтить их, выказать любовь к ним, засвидетельствовать память к почившим в бою товарищам. Прошли столетия, а обагренное самоедской кровью место при ручье Хоронэуподы не забылось. Оно стало целой горой из костей жертвенных оленей. Стало памятником, выросшим из любви к предкам, защищавшим свою свободу от остяцкого притеснения. Сделалось священным и святым. С горы костей видна Обдорская миссионерская церковь - святыня инородцев Обдорского края. Они стали привозить в ее честь головы с рогами своих кормильцев-оленей.

Но почему у самоедов такое расположение к храму миссии в Обдорске? У многих еще на памяти, что 14 января 1841 года самоеды хотели сжечь эту церковь в связи с истреблением русского населения в Обдорске. Эта церковь стоит на месте древнего знаменитого языческого капища, бывшего оплотом древней веры остяков и самоедов. Для них священно само место миссионерской церкви, священна и церковь, стоящая на святом месте. Священна и потому, что с места рогов виден крест ее колокольни - символ видимости самой священной горы. Лет двадцать тому назад самоеды, обходя эту церковь кругом, бросали на ее крышу и в ее ограду мелкие серебряные деньги. Теперь этот обычай вышел из употребления. В 1899 году, в Новый год во время литургии, пользуясь отсутствием вне церкви публики, самоеды числом около пятнадцати человек в самом Обдорске вблизи церкви принесли в жертву оленя. Я не могу забыть их ответа на вопрос: «Зачем они это сделали?»

- В честь церкви.

- Этого делать нельзя, - сказал я. - Предупредите и других своих знакомых.

С тех пор попыток новых жертвоприношений не было. Зато рога олени при ручье Хоронэуподы беспрепятственно складываются каждым самоедом в честь церкви. Не в честь ли их священного мыса, на котором стоит Церковь?..

- Олени готовы, — гнусавым голосом прервал нить моих размышлений самоед.

Я быстро приподнялся и пошел на свою нарту для дальнейшего пути. Еще было темно. Маленькая северная звезда слабо мерцала на почти черном небе. Луны не было. Мороз жег лицо и пронизывал сквозь малицу грудь и спину. Я быстро надел поверх малицы гусь и, сказав самоеду, что готов ехать, удобно уселся на своих санях. Заскрипели полозья по крепкому снежному покрову земли, глухо затопали копыта оленей...

Мы ехали по открытому месту. Темнота безлунной ночи не позволяла видеть далеко вперед. Мне дремать не хотелось, я еще находился под впечатлением недавних дум. Начал смотреть на полоз своей нарты, на снег, по гладкой поверхности которого ровно бежали олени. И чем дальше я смотрел на полоз скользивших по белому снегу саней, мне сильнее начало представляться, что они стоят на месте. Глухой, изредка скрипучий топот оленей казался топотом без движения вперед. Неподвижно сидевшая впереди меня фигура ямщика-самоеда, одетого в белый пушистый гусь, казалась уснувшей. «Не скоро доберусь до конца пути. Хотя бы начался рассвет. Все веселее, когда глаз может видеть ширь необъятной тундры, ранним утром всегда почти пасмурной и грозной». Но рассвет долгое время не начинался. Олени, казалось, без усталости топчутся на месте, нарта томительно скрипит и стонет, не двигаясь ни вперед, ни назад. Самоед казался погруженным в нирвану. Кругом полумогильный мрак, давящий, убивающий мысль, притупляющий чувства.

Я давно уже перестал размышлять об оленьих головах с рогами у ручья Хоронэуподы. Мне начали казаться эти мысли мелкими и не заслуживающими никакого внимания. И они стали стусевываться в сознании и расплываться в окружающей обстановке. Так но крайней мере мне чувствовалось.

И скоро скрипящие, подобно плачу, сани и монотонно топчущиеся, будто в заколдованном кругу, олени и будто замерзший ямщик и я с ним, утративший полет мысли, слились в густой темноте северной безлунной ночи... Откинувшись на спинку сиденья, я заснул. Во сне виделись воюющие самоеды и остяки, затем олени с ветвистыми рогами головы, сложенные в одну высокую-превысокую кучу...

Сильный толчок нарты, затем крутой поворот ее влево, и я проснулся, делая удивительное сальто-мортале в воздухе, впрочем, благодаря надетым на мне малице и гусю, окончившееся благополучно.

- Сор Вангада! - с веселым смехом сообщили мне самоеды, а я стоял растерянный, не отдающий себе отчета в случившемся... Заразительный хохот надо мной самоедов скоро привел меня в себя, и я начал от души вторить им, к великому их удовольствию. Один из самоедов палочкой обчистил с моего гуся снег, а другой участливо спросил, не ушибся ли я при падении. Не отвечая на вопрос второго самоеда, я рассмеялся. Этот смех был для него гораздо убедительнее всяких уверений. Довольные мной самоеды хотели было ехать дальше. Я удержал их, говоря:

- Друзья, вы сообщили мне, что при этом соре, называемом Вангада, в старину при ваших прадедах дрались отчичи ваши с остяками. Тут вы были побеждаемы многочисленным остяцким племенем. Отсюда головы умерших соотчичей ваших относились к ручью Хоронэуподы, как трофеи победителей, Сор Вангада должен быть памятен вам как правнукам почивших на поле брани. Он многое должен говорить вашему сердцу. Какие чувства вы испытываете, стоя на этом памятном всем самоедам месте?

Самоеды меня не поняли. Я постарался объяснить свои мысли проще. Следовало прежнее молчание. Я снова начал объяснять самоедам свои мысли стараясь так или иначе заставить их понять свои вопросы. Сделать этого не удалось. Ответ получался один: «Дрались наши, были побеждаемы» и только. Я с грустью окинул взором исторический, но ни в одной истории не зарегистрированный сор Вангада, и приказал ехать дальше.

Самоеды быстро уселись на нарты и покатались вперед, должно быть, недоумевая о чувствах, состояние которых я пытался у них выведать.

Олени или бежали быстрее прежнего, или мне казался таким их бег теперь. Может быть, последнее было вернее. Я сидел на нарте грустный и огорченный. Мне так тяжело было непонимание меня самоедами и их полное безучастие к давним трагедиям жизни их предков. Меня стало тянуть к ручью Хоронэуподы. «Там, куда они везли рога оленей, они будут иными», - думал я. «Там, где истекали кровью головы их предков, они будут откровеннее», - думалось мне. Там, казалось, заговорит у них сердце, чувствительность которого так притуплена полярной природой, в корне посекающей альтруизм и дающей все возможное к развитию самого грубого и чувственного эгоизма. Переполненный этими мыслями, я ехал дальше по пути к знаменитому ручью. Взволнованный, я не замечал времени. Начавшие разнообразиться ландшафты при свете зимнего полярного дня еще больше повышали мое волнение. Я не обращал внимания на ухабистость близкой к Обдорску дороги, избитой русскими дровнями колонистов-дровосеков. Все перекаты, толчки, самые неожиданные наклоны нарты из стороны в сторону, грозившие ее опрокинуть, меня не занимали. Я забыл даже о цели своего нынешнего путешествия - Обдорске, о котором денно и ночно думал в последние дни. Мне хотелось одного: попасть к горе оленьих рогов. Обойти ее со всех сторон, измерить, хотя на глазомер, ее основание, высоту; формы. Видеть самоедов, полагающих у ее подножия или вершины оленьи рога... Вглядеться в их постоянно тупые физиономии при этом, должно быть, воодушевляющем моменте... И я ехал, мысленно торопя самоедов, по опыту боясь высказать им свое желание вслух. Нарта, раскачиваясь из стороны в сторону, летела, а мне, вопреки действительности, казалось ее движение медленным... Скорей бы...

И это сбылось почти совершенно неожиданно. Мы выехали из мелкого, порубленного топорами обдорских обывателей леса на обширную поляну. Вдали показалось небольшое, ничем не выдающееся возвышение. На него вряд ли кто обратил внимание зимой. Но я его хорошо знал. Это возвышение - гора рогов кормильцев самоедов - оленей. Сюда почти каждый из них несет свою жертву. Здесь, в одном самом незначительном пункте, группируются и мысли, и чувства кочевников-дикарей. Какие же это мысли и чувства, - мне предстояло сейчас узнать.

Возвышение ближе и ближе, вот совсем стало близко. Подъехали, и олени остановились. Самоеды соскочили со своих саней и подвязали к ним оленей. Взяли свои приношения - оленьи головы с чудными рогами и пошли к горе. Я, не спуская с них глаз, следовал за ними. Всякое замедление шага, каждый жест самоедов я старался запомнить и дать им объяснение. Но мне не пришлось видеть ни поклонения горе оленьих рогов и ничего другого. Брошенные на гору, как попало, оленьи головы, зацепившись рогами в одном месте, остановились, не нарушая своим видом общей картины, пересыпанной снегом жертвенной горы. Бросив оленьи головы, самоеды обошли гору с северной ее стороны на запад, затем, поднявшись на ее вершину, осмотрелись во все стороны, перекинулись двумя-тремя самыми незначительными замечаниями, взглянули в сторону Обдорска и прыгнули с горы по направлению к нему. Я сделал то же самое, но, прыгая с горы, упал. Падение рассмешило, но осмотр горы меня разочаровал. Вся засыпанная снегом, она не представляла ничего интересного. Сверху ее также ничего особенного не было видно. Я не заметил даже крестов обдорских церквей. Они куда-то исчезли. Обратившись к самоедам, я спросил их: «Видали ли вы с горы рогов церковь?»

- Ямгу, - последовал ответ. - Нет, не видали.

- Как же так? - спрашиваю.

- Ерам, - не знаем.

Самоеды опять влезли на вершину горы, опять прыгнули с нее в сторону Обдорска и, повторив это прыгание еще несколько раз, веселые и довольные, пошли к своим нартам, чтобы ехать дальше. Энергично понукаемые длинными шестами своих хозяев, бодрые олени быстро неслись в Обдорск. Я, не спуская с горы глаз, смотрел на

нее, начавшую постепенно теряться в сугробах обильно выпавшего в эту зиму снега. Наконец жертвенная гора исчезла вовсе из глаз. Впереди меня далеко на горизонте заискрились золотые кресты обдорских церквей. Только теперь, после получасовой езды мы увидели то, что тщетно пытались видеть с горы рогов, подпрыгивая на ее вершине. Отчего же в самом деле это произошло? Неужели самоеды обманывают друг друга, уверяя, что видят с жертвенной горы кресты миссионерского храма? Правда, старый храм был несколько лет тому назад разобран и взамен его выстроен новый, но новый храм гораздо выше прежнего. Его кресты должны были быть еще больше видимы с горы рогов, если только кресты старой упраздненной церкви действительно видны были с нее.

Думая об этом, я нашел разрешение этого вопроса, внезапно вспомнив, что лет пятнадцать тому назад один из обдорских торговцев, получив от одной из зарубежных фирм предложение доставить какое-то громадное количество оленьих рогов, позарился воспользоваться этими самоедскими приношениями и долгое время по отходе кочевников от Обдорска в тундру свозил рога к себе. Конечно, он не продал рога, так как нужные для выделки клея, они требуются свежие, а не лежалые бог весть сколько времени под открытым небом. И увезенные во множестве рога с жертвенной горы долго валялись по обдорским улицам, растаскиваемые голодными собаками обывателей села.

Жертвенная гора при ручье Хоронэуподы уменьшилась, самоеды перестали видеть с нее кресты миссионерской церкви. Не зная о причинах этого, они, но всей вероятности, уже успели сложить какое-либо фантастическое поверье для объяснения этого, без сомнения, странного для них явления. В сказание о жертвенной горе из оленьих рогов будет привнесен еще один маловероятный рассказ, но полный таинственной чудодейственности. И с прежним, если еще не с большим, усердием дикие сыны тундры будут, возобновлять этот памятник своей седой старины...

Мы ехали уже по Обдорску, сплошь занесенному снегом, в эту зимнюю пору шумному и оживленному. Передо мной мелькали теплые и уютные дома обывателей, показалось и мое жилище. Подъезжая к нему, я все еще думал о жертвенной горе, и самый вид моего дома не радовал меня так, как следовало ожидать по бывшему нетерпению у меня попасть скорее после долгого путешествия домой.

Часть 15. В самоедском чуме

Измученный и усталый подъезжал я к чуму своего старого знакомого самоеда Григория Худи. Здесь я рассчитывал отдохнуть душой после долгих шатаний по тундре в районе зимних самоедских кочевий. Я успел побывать и у богатых кочевников, и у бедняков. Встречал широкое гостеприимство и суровые приемы. Ездил на хороших и дурных оленях. Наслаждался чудной зимней погодой, мучился в сильные бураны и другую непогоду. Я все успел переиспытать, приобрел большой запас всевозможных впечатлений, яркость которых от усталости стала гаснуть и слабеть. Тем больше мне было удовольствия пробраться к Григорию. Человек умный, не в пример другим самоедам разговорчивый, умевший шутку переплетать с дельной речью, он своими беседами меня постоянно занимал и увлекал.

Теперь местом его пребывания была довольно значительная размерами поляна, окаймленная со всех сторон тощим леском. Два чума его находились вблизи леса. Средней величины, невзрачные видом, с густо выходящим из верхних отверстий дымом, чумы выглядели постройками средней зажиточности хозяина. Вблизи чумов в беспорядке расставлены были всякого вида и разных наименований нарты. На некоторых из них сложены были пожитки и пищевые запасы, другие стояли порожние. Тут же около чума терлось десятка два оленей, пугливо поглядывавших на нас. Маленькие, мохнатые и грязные собачонки, заливаясь громким лаем, приветствовали наш приезд. Выйдя из нарты, я осмотрелся и привычным взглядом отыскал вдали от чумов оленье стадо. Оно не превышало четырехсот голов и мирно паслось, выбивая из-под глубокого снега ягель.

Из чума вышли хозяева, добродушно поздоровались со мною и пригласили войти в чум. Я быстро скинул с себя гусь, обил с него снег и, положив на свою нарту, прошел через небольшое отверстие внутрь жилища своего знакомца. Густой дым заставил меня сразу же усесться на покрытые оленьими шкурами доски, изображающие в чумах пол. Несколько минут я протирал сразу же заслезившиеся от дыма глаза и старался отдышаться от захваченного дыхательным горлом дыма. Только сделав то и другое, я получил возможность оглядеться. Прокопченный от верху до самого низа чум внутри представлял еще более печальное зрелище, чем снаружи.

- Беда, сколько дыма, - сказал я.

- Ничего, мы привыкли, живем и мало замечаем его, - ответил Григорий, поправляя щепкой обуглившиеся дрова и подбавляя новых.

- Давно ли ты в пути? - спросил он, сосредоточенно продолжая свое занятие.

- Недели две. Надоело ездить, устал от посещений ваших чумов, постоянно грязных, всегда прокопченных дымом, холодных, во всех отношениях не приспособленных к жизни.

Самоед, пристально взглянув на меня, возразил, что чумы приспособлены к жизни гораздо больше, чем думается.

- Вы, русские, не приспособлены к жизни кочевников, а вся жизненная обстановка их вполне отвечает нуждам и удобствам этого рода жизни. Если хочешь, мы больше сумели подчинить себе природу Севера, чем вы. Впрочем, вы еще и не начинали этого делать. Вам это не под силу. Вы пользуетесь чужими трудами в наших тундрах. Собственными, нашими. При переездах вы одеваетесь в наши одежды, так как они в сто раз практичнее ваших, пользуетесь нашими кочевыми жилищами, нашими нартами, упряжью и оленями. Своего вы еще ничего не выдумали. Во время своих переездов вы вполне почти подчиняетесь нашим жизненным распорядкам. Своего ничего не привносите в жизнь кочевника, когда путешествуете. Ты говоришь, что чум неудобен для постоянного житья. Выдумай новую, более удобную форму чума для жизни. Мне смешно, когда вы, русские, осуждаете нас, а сами не делаете ничего для улучшения и удобства нашего существования. Да и нужны ли нам какие-либо новшества во внешних формах условий нашей жизни. Ты, друг, проезди по нашим тундрам не две недели, а проживи года два с нами, одинаковой с нами жизнью, тогда будешь и думать, и говорить иначе. Не зная нашей жизни, нельзя о ней судить правильно. А наша кочевая жизнь не нова. Ее не мы выдумали, не отцы наши и не деды. В тумане веков теряются ее устроители, давшие все существенно-необходимое для легкого и удобного во всех отношениях существования кочевнику. Он - победитель природы Севера, относящегося ко всем людям, как мачеха. Ты едешь уже много лет по становицам моих сородичей, учишь их жить в любви, согласии между собой, собираешь в школы детей наших. Скажи, много ли успел ты в своих многолетних трудах? Да и не сделаешь многого. Научаешь нас верить в Бога, но мы верим Ему, может быть, еще глубже русских. Научаешь правильно молиться, но наша молитва, возможно, более искренна, чем ваша. Любовь и согласие в нашей среде сильнее царят, нежели у вас. Взаимопомощь развита гораздо больше русской. Научаешь нас жить хорошо, по-Божьи, но ведь русских-то тебе, русскому, следует учить этому прежде! Толкуешь о пользе школы, но не вразумительны для нас твои доказательства этой пользы. Я-то, положим, понимаю, но почти для всех наших значение школы непонятно, как непонятен самоедам и ты сам. Тебе у нас почти всегда не по себе. Привыкшему к жизни по-русски, самоедская для тебя мало приятна. Этого нельзя не видеть. А это нам обидно. Обижаемые твоим отношением к нашей жизни, мы не можем быть внимательны и к твоим словам, и к добрым советам. Научись сначала жить по-нашему, войди во вкус этой жизни, полюби ее, тогда и отношение к тебе моих родичей будет иное. Но тогда ты и о самоедах будешь другого мнения. Ты не только найдешь много хорошего и доброго в их жизни и обычаях, а и признаешь их умными людьми. Будешь говорить об их уме русским, а самоедскую силу веры в Бога и нравственность поставлять станешь и пример своим

соплеменникам. Вот ты говорил мне, что наши чумы мало приспособлены для житья. А думал ли ты о том, что никакой ветер не опрокинет наши худенькие чумы? Вот как умно придуманы они нашими предка ми, боровшимися с сильными ветрами и буранами. А устройство наших одежд, малицы и гуся? В них тебя не прохватит ветер, не прошибет крепчайший мороз - будь ты на нем хотя двое и больше суток. Наши пимы (род паленок) разве могут сравниться с вашими русскими? В ваших - замерзнут ноги, и пропадут они. В наших пимах ноги всегда будут теплы. А устройство наших нарт, легких и удобных для передвижения, разве мало свидетельствует о самоедской смекалке? А домашний олень? Кем приучен он к человеку? Бери все, что хочешь, из созданного нами, и везде будешь видеть глубокий ум наших предков, их способность приспособляться к самым малоприспособным условиям жизни, умение жить, выходя гордыми победителями суровой природы. Сознай все это и тогда станешь смотреть на нас иначе. Не будет у тебя той снисходительности к нам, как к глупышам, которая нас от тебя и вообще всех русских отталкивает. У тебя явится тогда иная любовь к нам, и наше отношение к тебе резко переменится к лучшему. Тогда твои советы и добрые слова мы будем охотно слушать, потому что ты, хорошо нас зная и любя нашу жизнь, не будешь желать нам дурного. Мы будем тогда вполне уверены в этом. И твое дело среди нас падет на добрую почву. Легко тебе станет работать у нас. Путешествия к нам тебе не будут утомительны, у нас везде находить будешь радушный прием, в успехе своего дела сомневаться не станешь.

И долго еще распространялся Григорий на эту тему. Его речь лилась спокойно, говорил он уверенным тоном и твердым голосом. Я слушал его, не прерывая, изредка лишь наводя на мысль, когда, не вполне привычный к логическому мышлению, он начинал уклоняться в сторону от содержания беседы. Наконец он замолчал. Задумчиво сидевшая его жена взяла уже давно вскипевший чайник и налила по чашке чаю. За чаем мы вели беседу на злободневные вопросы. В словах Григория я замечал самое здоровое суждение. И мне было вдвойне приятно поддерживать с ним разговор, потому что он самоед умный и бесхитростный, разговорчивый и веселый.

Далеко за полночь выехал я от Григория Худи. Олени, весело подпрыгивая, бежали крупным шагом. Сидевший впереди меня почти неподвижно ямщик был сам Григорий. Глядя на его причудливо освещенную нежным лунным светом, обнаруженную в неуклюжий гусь спину, я припоминал его беседу. Я не мог не соглашаться с ним, что пришлое у нас население неверно смотрит на аборигенов, представителем которых являлся мой добрый знакомый самоед Григорий. Нельзя, думалось мне, оказывать влияние на людей, образ жизни, которых нам чужд, обычаи неизвестны, миропонимание неведомо, на которых мы смотрим свысока, до которых только допускаем себя снисходить, ознакомление с языком, жизнью, обычаями и верованиями которых считаем ниже своего достоинства. Неудивительно, что эти люди тог да дичатся нас и представляются чуть не вдвойне дикими. За глаза они над нами смеются. И имеют для этого основания. Ведь по-своему они считают себя культурными, нас же дикарями. Они видят в нас говорунов и болтунов, мало что умеющих создавать и делать, тогда как они успели на Севере создать и сделать многое. Они, вполне освоившись с жизненными условиями Севера, невзирая на всю каждодневную тяжесть своего положения, научились жить с возможными при кочевом образе жизни удобствами. Они победили полярную природу созданием своей культуры, нам непонятной потому, что мы не хотим ее знать. Мы являемся к ним учителями, а сами пользуемся всем, что сделано ими в борьбе за существование с природой Крайнего Севера. И они нас чуждаются, потому что не признают нас законными наставниками. Таковыми по отношению к нам они считают самих себя. И мы более чем слабы в своем на них влиянии. Их же влияние на нас нередко сказывается сильно. Они видят это, но молчат. И к чему указывать, когда они считают себя умными не менее самих русских. Они это прекрасно сознают, учитывая свои победы не только в борьбе с русскими за свою самобытность, но и в борьбе с природой за свою жизнь, свое существование, каковое для русского населения в тундрах Обдорского края

было бы немыслимо без наличности их, аборигенов. Не самоед без русского не обойдется, как принято у нас думать и говорить, а наоборот. Ведь они - самоеды, покорители неведомых нам тундр Обдорского края.

Течение моих мыслей остановило величавое северное сияние. Какой чудный вид! Бесконечная белоснежная тундра, освещенная спокойным и нежным лунным светом. А три четверти небосклона охвачены бледно-матовыми, чуть прозрачными столбами, легкими и мягкими, незаметно усиливающими белизну своего света и потухающими, движущимися, будто под дуновением самого нежного ласкающего зефира и исчезающими, меняющими свои формы и очертания так красиво, что трудно оторвать глаз от этой дивной и величавой картины. Я с восторгом любовался обычным для самоедов этим волшебным зрелищем. Я старался запечатлеть в своей памяти эту картину... А самоед Григорий, безучастно глядя вперед, понукал оленей, заставляя их быстрее бежать. Такие явления природы для него были столь обычны и знакомы, как родная тундра, великая и раздольная. Олени неслись вихрем, и мне казалось, что я попал в какое-то сказочное, волшебное царство...

Часть 16. Елка

Елка... одно это слово навевает мне тысячи лучших воспоминаний детства и зрелой жизни... Я в раннем детстве остался круглым сиротой. Из этого периода моей тусклой воспоминаниями жизни более сильным является устройство моим отцом детской рождественской елки. Я тогда видел всех радостными, добрыми, любящими. Помнится, не чувствовалось обид и зависти, сердца всех наполнялись особой святой радостью и общим весельем, памятным, никогда не забываемым... В юности моей мне редко приходилось бывать на елках, и в этих редких случаях они не оставляли воспоминаний детства... Я приехал в Обдорск. Род службы заставил меня сходить с людьми, приспособиться к ним, жить с ними одной жизнью... Радоваться их радостями, плакать с ними в их несчастьях, горевать в их печалих и неудачах.

Для успеха своего дела я должен был стать человеком, могущим понимать чувства и душевное состояние всяких людей: богатых и бедных, честных и воров, счастливых и несчастных...

И мне пришла на помощь елка, подружившая меня с детьми, влиявшими в мою пользу и на своих родителей... И в зрелом возрасте, теперь, одно слово «елка» заставляет меня невообразимо волноваться и лить слезы радости. Елка сделала то, что не в состоянии была сотворить моя любовь к людям...

Уже больше суток я блуждал с ямщиком-самоедом по тундре и никак не мог попасть в чум. Была одна из отвратительнейших непогод в зимнюю пору, Снег крупными хлопьями застилал дорогу, делая ее тяжелой для оленей и мучительной для проводника, то и дело терявшего путь, соскакивавшего с нарты для отыскания направления нашего движения. Чуть не в сотый раз мой ямщик отправлялся на поиски дороги в этот день. Сто раз он находил и столько же раз терял ее. Обычно непроницаемое выражение лица моего проводника теперь принимало вид недовольства и досады.

- Вот беда, - неоднократно говорил он мне, отплеываясь в сторону. - Знаю, что чум недалеко, а погода держит. Должно, шайтан не позволяет. Что делать? Переждать разве погоду? К утру снег может перестать. Не два же ему дня идти. И так его нанесло в эту зиму столько, что оленям не под силу становится отрывать ягель...

Я молчал. Что мог посоветовать ему я, мало знакомый с условиями кочевой жизни? Конечно, перспектива выжидания хорошей погоды мне не улыбалась. Я на опыте вкусил удовольствие такого сидения, способного снести с ума. Находиться без всякого прикрытия сутки или больше, без всякого дела, с одним думами... Да и они тогда не идут... В голову лезет всякая дребедень и чепуха. Мозги отказываются от работы, а сон не

приходит. И вот маешься, маешься в каком-то полудиотском состоянии. Переворачиваешься с боку на бок, нервничаешь, чуть не плачешь...

Самоед, не дождавшись моего ответа, понутив голову, опять пошел искать путь, а я снова остался один в самом невеселом настроении. Чем окончатся поиски его? Дорога будет найдена, через пять минут утеряна. Кружение на месте. И все-таки на душе легче, когда дорога отыскивается, когда едешь в неведомую даль. Чего-то ждешь тогда, на что-то надеешься. И эти надежда и ожидание бодрят и поддерживают настроение. «Пускай самоед подольше не возвращается, - думал я. - Пускай ищет эту глупую дорогу в чум, пока идет этот несносный снег...».

Самоеда уже давно не видно. Он чуть не в десяти шагах от меня скрылся за снежными хлопьями, нежными, красивыми, но, к несчастью, мокрыми. Мой гусь от этого снега успел отсыреть, мое лицо было мокро, так как мягкие, почти эфирные снежинки от одного прикосновения к нему таяли, с моей бороды текла вода... Несмотря на теплоту температуры (-14 по R), невзирая на свежесть теплых малицы и гуся, мне было холодно. Холодно не от мороза, а от нездоровой сырости во время снежных оттепелей, пронизывающей все тело. Может быть, еще от самого мрачного и тяжелого состояния духа.

Самоед что-то очень долго не возвращался с поисков. «Не нашел ли он чум? - подумалось мне. - Отчего тогда не является за мною? Не потерял ли он следы своих оленей?» Мое положение в этом случае должно было стать еще более трагическим. Ехать без проводника, на авось, значило проплутать лишних два дня. И мне ужасно захотелось, чтобы проводник скорее вернулся, хотя этого возвращения я в то же время побаивался. А что если, не найдя дороги, он предпочтет выжидание хотя бы самому бесцельному движению вперед ли, назад ли, кругом ли. Бог весть.

Но ведь и оленям надо дать передышку. Бедняги сегодня целый день провели без корма. Я взглянул на оленей. Из них трое, прижавшись, друг к другу, опутив вниз головы, стояли, почти не шевелясь. Четвертый лежал на мягком снегу. Наблюдая за ними, я заметил, что двое из них чуть-чуть повели ушами, насторожили их в прямом от себя направлении. Через пять минут оттуда показалась в мохнатом гусе фигура моего ямщика.

- Что долго бродил, нашел ли дорогу? - спросил я.

- Дорогу-то нашел, как и тебя отыскал, а только дальше не поедем. Чум близко, станем его искать - опять заблудимся. Олени устали, им тоже надо передохнуть и попасться немного. Вот доедем только до елки, которую сыскал, и там станем ждать утра. Темнеет, ночью все равно не попадем в чум.

С этими словами, отвязав от нарты оленей, проводник тронулся в путь. Снег залеплял наши лица, быстро наступившая темень не позволяла ничего видеть. Самоед то и дело соскакивал с нарты, чтобы нащупать голой рукой свои следы. Мы ехали крайне медленно, зато не сбивались с должного направления. Через час езды мы подъехали к елке. Я ее так и не увидел в темноте и, поверив самоеду на слово, что мы около нее, спросил его, почему он рассчитывает на близость чума.

- По свежему оленьему помету, - лаконично ответил он.

- Как же ты умудрился найти следы, когда снег ежеминутно засыпает всякие следы?

- Ощупью. Когда ищешь дорогу, трогаешь снег, местами его разгребаешь. Вот на руку они и попали. По ним-то узнал, что олени проходили здесь часов пять-шесть назад. Хозяева их далеко не могли уйти в такую погоду и поставили чум, конечно, невдалеке отсюда. Утром отыщем.

С этими словами самоед, отпрягнув оленей, прикорнул на снегу. Я спать не мог. В такую погоду и с таким настроением сон не идет, как бы ни был утомлен. Лежа на снегу, я стал делать попытку восстановить в памяти впечатления этого путешествия. Я вспоминал свой выезд из Обдорска, боязнь запоздать с возвращением обратно к праздникам Рождества Христова. Шатание по тундре. Почти всегда одинокие наезды к кочевникам-

самоедам. Их прокопченные дымом чумы, внутренней обстановкой схожие, как две капли воды. Обитателей их, влачащих тусклую жизнь, постоянно занятых одними животными интересами. И эти воспоминания усилили мою нервность. Не знаю, насколько сильно ухудшилось бы состояние моего духа, если бы мои воспоминания, помимо моей воли, не перешли на пережитые чувства от созерцания природы.

Я выехал из Обдорска в теплую погоду, после обильно выпавшего снега. Выехал безлунным вечером, ни светлым, ни темным. Уже после 30-верстного перегона я ехал лесом. Деревья фантастически убраны были снегом, благодаря полнейшему безветрию настывшим на ветвях дерев. Белые от снежного покрова, они сливались с гущей ночного мрака. Только пристально всматриваясь вперед, можно было замечать выступление их из бездонной темноты по мере нашего движения. И какими чудными, чарующими представлялись тогда чахлые северные деревца. Они являлись перед взором в самых разнообразных и причудливых формах... Сильный толчок нарты - мы стремглав летим, будто в бездну, миновав благополучно громаднейший ухаб. Олени бешено несутся по гладкой поверхности тундры.

Я не без трепета смотрю в темную даль. Впереди выплывает из темноты какой-то зверь, будто белый медведь, только в три раза больше обыкновенно го. Он стоит на задних лапах, с протянутыми в направлении моей нарты передними, готовыми захватить и моих оленей с нартой, и самого меня. Вот он ближе и ближе. Совсем близко. Иллюзия исчезает. Один из оленей задевает рогами за ветку дерева, с него с легким шумом сыплется снег, и моему взору представляется невзрачная болезненная береза. Я с сожалением на нее оглядываюсь и опять начинаю смотреть вперед. Будто большущими шагами выступает ко мне навстречу исполин с громаднейшей дубиной в руках. На этот раз олени оказываются осторожными. Их рога ловко лавируют между двумя, высокой и маленькой, лиственницами, и великан быстро пробегает мимо меня,

Я опять смотрю вперед. Вижу целое общество белых мохнатых зверьков попеременно с какими-то маленькими преуморительными уродцами. Все они будто застыли в ожидании моего приближения к ним. Мои олени влетают в самую середину их - меня обдаёт снегом. Низкорослые ползучие березки трещат под полозьями моей нарты. Олени точно торопятся выехать из неловкой для их бега полосы кустарников, сворачивают налево, вылетают на равнину и, обдавая меня мокрым снегом, несутся вперед вихрем. Минуты две продолжается эта скачка, неприятная, с могущими быть сюрпризами, вроде налетания на пни и крутые спуски. Тогда и нарта ломается, и ездуку достается. К счастью, все обошлось благополучно.

Ровный бег оленей снова направляет мой взор вперед в ожидании новой картины. Появление ее не заставляет ожидать долго. Вдали показался силуэт летящего над землей человека. На земле, простирая к нему руки, стоят люди в самых фантастических одеждах. Я, не отрывая взора, любуюсь дивным видением около полминуты. Летящий меняет свои формы и очертания, становящиеся все более грубыми. Превращается в какого-то уродца, опускающегося на землю. Наполовину теряется среди людей, превратившихся в неуклюжих животных и уродцев. Олени будто нарочно задевают его своими крепкими рогами, на меня сыплется масса снега, и поражавшее мое воображение видение превращается в кривую елку...

Дальнейшее мое путешествие скрашивалось днем грустными видами пересыпанной снегом тундры, колоритными лесками Севера, горами и громадными безжизненными обрывами. Ночами - чудными видами той же тундры, обливаемой холодным, но нежным блеском луны...

Эти воспоминания поглотили все мое внимание, и я, лежа на мягком снегу, успокоился, забыв, что причудливая погода может еще долго заставить меня блуждать по тундре... Меня разбудил самоед, сказавший, что надо торопиться ехать. Нехотя начал я подниматься, и, вытащив из треушка малицы голову, не мог не подивиться перемене погоды. Небо было чисто. Луна лила свет, проникавший всюду. Застывшая белая тундра

купалась в нем. Светившиеся на земле снежинки казались волшебными брызгами лунного света. На Севере была сплошная иссиня-белая равнина, бесконечная, как море. На запад - холмообразная местность, прикрытая редким леском. Юг и восток задрапирован сплошным лесом. Тишина торжественная.

А где елка, около которой я ночевал? - нельзя было не взглянуть на нее. Она была виновницей моей ночевки здесь. Была исходным пунктом сегодняшнего моего движения. Бог даст, удачного и счастливого. Я обернулся в ее сторону и, отойдя от нее немного, остановился в удивлении. Рослая, на редкость здесь прямая, с правильно расположенными ветвями, ровными, свежими. На ней не видно было сухих веток. Все ветви ее, покрытые толстым слоем самого чистого снега, искрились мириадами огоньков. Волшебница-луна украсила ее ими. Снежинки на ней блистали бриллиантами, перемешанными с зеленым изумрудом, переливались в лилово-нежные аметисты, сверкали красными, как кровь, рубинами. Недвижно стоявшая в тиши северной ночи елка казалась трепещущей, играющей. Я не мог налюбоваться ее красотой, красотой величественной и могучей, художником которой могла быть только одна природа. Теперь наступает Рождество. «Если бы можно было перенести эту дивную елочку со всем убранством ее в комнату и устроить детский праздник, - подумалось мне. - Тысячи и десятки тысяч всяческих украшений со множеством огней не могли дать и малой доли этого редкого зрелища...»

Обратясь к самоеду, я спросил:

- Саво?

- Амгы? - последовал вопрос.

- Тюку ходы, - сказал я.

- Ерам, - последовал ответ

(Хороша? - Что? - Это елка. - Не знаю.)

Я пристально взглянул на своего проводника. Непроницаемый взор ничего не говорил о его чувствах. Его ответ мне соответствовал его взору. Очевидно, самоеду непонятны были мои восторги. Дивные картины природы не играли на струнах его сердца. «Поглощенный постоянными заботами об интересах животных, он не знал иных возвышенных чувств красоты и изящества, скрашивающих серую, будничную жизнь культурных людей. Он человек исключительно прозаического дела, человек, постоянно, ежедневно, ежеминутно борющийся с природой за свое существование. Он не может видеть в ней ничего красивого, изящного, возвышенного. Для него в природе все слишком обычно. Она всегда идет наперекор его желаниям и ожиданиям. Он враг ее как борец за свою независимость и жизнь», - думал я, глядя на энергично приготавливавшего оленей к дальнему пути самоеда. «Но покажите ему, - думалось мне, когда я сидел в нарту, - ту же елку, испорченную нашими елочными украшениями, и он придет в восторг. Каждая елочная безделушка будет вызывать в нем удивление человеческому искусству...»

Ровный бег оленей к чуму настраивал меня на эти размышления, и я до того отдался им, что самый приезд в чум был мне неприятен, так как нарушал течение моих дум. Но делать было нечего. Послышался в воздухе запах человеческого жилья, показались серые олени, залаяли собаки, впереди мне открылась лужайка и на ней в одну линию пять чумов. Повеяло из своих убежищ самоеды. Надо было выходить из нарты... В самом большом чуме, принадлежавшем богачу-хозяину, весело трещал огонек. Я занял одно из свободных мест и, поручив своему толмачу приготовить закуску и чай, сел в ожидании начала какого-либо разговора. Он долго не клеился. Я внимательно стал прислушиваться к говору кочевников. Но и у них не было особых новостей. Все замолчали. Кто сидел, бесцельно глядя на огонь, кто лежал, сосредоточенно глядя на дымовое отверстие чума.

Вскипел мой чайник. Я пригласил своего проводника и хозяина чума разделить мою трапезу. Как и всегда ни тот, ни другой не заставили просить себя дважды. Вместе с тем разговор принял более оживленный оборот. Даже молчаливая хозяйка стала вмешиваться в него. А ее две девочки, подкупленные подаренными им безделушками и

конфетками, теперь мне мило улыбались из-за спины своей матери. Я направил разговор на вопрос о необходимости самоедам учиться грамоте. Грамотность, говорил я, подымет вас в умственном отношении, сделает равными с русскими. Самоед-хозяин загадочно улыбнулся. Делая вид, что не замечаю его улыбки, я сказал ему, что он мог бы отдать учиться своих девочек, из которых одной было около девяти, а другой около семи лет. Мать девочек нахмурилась, отец замолчал, а детишки, должно быть, не понимая, что о них идет речь, продолжали, изредка выглядывая на меня, улыбаться. Мой проводник смеялся. Ему смешна была сама мысль учить грамоте девочек. К чему учить девчонок, чтобы были умнее мужиков? Им все равно надо выходить замуж. Возьмет ли кто еще грамотную. Не дадут полного калыма. Шутя я спросил хозяина, сколько хочет он получить за своих девочек калыма?

- По тысяче рублей за каждую.

- Продай мне за калым. Я обучу их грамоте и отдам тебе обратно.

- Тебе не продам.

- Почему?

- Так.

- Да ведь ты же их после снова продашь, получив от меня теперь калым, но, конечно, не такой большой, как хочешь.

- Нет, не надо.

- Тебе же убыток, - сказал я.

- Мне? - удивленно переспросил самоед. - Посмотри, сколько Бог дал мне оленей. Я не бедный. Могу прокормить своих детей. На что мне твои деньги. Дети мне дороже их.

- Но ведь ты продал бы их теперь, если бы нашлись из среды самоедов женихи?

- Продал бы, - ответил хозяин.

- А почему же мне не продашь?

- А ты самоед разве? Самоеду продам охотно, русскому не уступлю ни за что.

Я рассмеялся, рассмеялись и самоеды, а глядя на взрослых, и девочки. Я поманил их к себе. И они доверчиво пошли, несмотря на суровые окрики матери.

- Приедете ко мне в гости?

- Как отец скажет, - ответила старшая.

- Привезешь? - обратился я к хозяину.

- Бабье дело, мать спрашивай.

Но она не удостоила меня ответом. Я вновь приглашал девочек, пообещав им игрушек. Теперь и они молчали, следуя примеру матери. Обращаясь к отцу-самоеду, я просил в бытность его в Обдорске навестить меня.

- Теперь я у тебя в гостях. А ты приезжай ко мне в гости с женою и детьми. Скоро праздники будут, - говорил я, - на этих праздниках все христиане веселятся. Особенно же хорошо веселятся дети. Приезжай всей семьей и сам увидишь.

Я хотел рассказать ему о рождественских елках, но эта попытка не могла бы удалиться. Вместе с тем я вспомнил, что еще ни разу не устраивал для инородческих детей елки и решил устроить непременно это детское празднество. Мне самому тундра подарила несколько часов назад чудное зрелище елки. Елка в тундре. Особая елка, волшебная, давшая мне возможность на несколько минут забыться в созерцании ее зимних украшений. Эти чувства пробудили у меня в памяти мои детские воспоминания о елке...

Я ехал в Обдорск без всяких приключений. Скорость движения вселяла в меня надежду благовременного приезда домой к праздникам. 24 декабря рано утром я был дома. Инородческой детворе объявлено было об устройстве для них особого праздника - елки. С интересом ожидали дети неведомой им елки. Она превзошла их ожидания. Было редкое у инородческих детей заразительное веселье. Приятно было видеть их, постоянно угрюмых, с горящими от удовольствия ласковыми глазенками...

Прошел год. Дети-ученики заблаговременно готовились к своему празднику, заучивая басни, стихотворения, хорошие песни. Мне припомнилась елка в тундре, и

вместе с тем явилось желание доставить инородческим детишкам возможно большее удовольствие на их празднике.

Елка удалась на славу. Пышная, нарядная, красивая, она превзошла ожидания обдорских обывателей с более утонченным вкусом. Но инородческие детишки превзошли самих себя. Они сначала конфузились в необычной для них обстановке в присутствии многочисленных русских гостей. Поощряемые же гостями становились увереннее и смелее. Выразительно сказывали басни, прекрасно произносили стихотворения, хорошо пели, и ими нельзя было не восхищаться. Боязливые и робкие, неуверенные в своих движениях при посторонних, считающие себя хуже детей русских, они сумели овладеть общим к себе вниманием и на елке сделались неузнаваемыми. Награждаемые дружными аплодисментами за хорошо рассказанную басню или прочитанное стихотворение, они удалялись с горящими от удовольствия глазами, с гордо поднятыми головами, с сознанием своего достоинства. Самые фигурки их и походка свидетельствовали, что они считают себя не хуже русской детворы, свысока смотрящей на остяков и самоедов по примеру своих отцов. Хорошо пропетые русские хороводные песни инородческими детьми вызвали общий восторг, сделавший их вполне счастливыми. Родители инородцы с расплывшимся на их лицах блаженством открыто заявляли, что их детишки совсем как русские. Но сами ребята не захотели вполне быть схожими с детьми русских обывателей.

Окончив репертуар песен и стихотворений русских, повторив многие из них, развеселившаяся детвора перешла на пение своих отцовских песен и на родные танцы. Раздалось сначала где-то в группе детей тихое заунывное остяцкое пение. Все вдруг стихло. А песня полилась громче и громче. Альт девочки-остячки разносил по зале грустную мелодию. Дружным хлопанием в ладоши всех присутствовавших закончено было пение. Переконфуженную, раскрасневшуюся, со слезами на глазах вывели маленькую певицу на середину залы к елке. Она, опустив глаза, стояла перед публикой без движения. Ее стали просить спеть еще что-нибудь, но она долгое время отказывалась и уступила общему желанию послушать ее еще раз только после многократных убеждений. И опять высокий голосок девочки грустно полился на этом детском празднике веселья...

После девочки-остячки пел мальчик-самоед. Гнусавые носовые звуки самоедского пения странно раздалось в тиши освещенной множеством елочных свечей залы. Все молчали, почти затаив дыхание, слушая монотонный напев самоедской песни. За мальчиком вызвались петь другие инородческие дети, и грустное, заунывное, монотонное пение остяцких и самоедских детей вносило в сердца присутствовавших новый элемент участия к пасынкам природы Севера. Как гармонировали инородческие напевы грустной, но величественной полярной природе. В их пении сказывалась необъятная, тихая и грустная тундра... Борьба с природой, по прихотям которой гибли предки стоявших перед нами певцов... Их сильная жажда жизни и желание выйти победителями в этой неравной борьбе... Уверенность в победе... торжество победное, нашедшее выражение в национальных плясках, диких, но свидетельствовавших о гордой мощи...

Вокруг елки весело вертелись и прыгали инородческие дети, сыны, как говорят, угасающих племен крайнего северо-запада Сибири. Детские глазенки их искрились самодовольствием, уверенностью в себе и в своих силах... Родные песни их всколыхнули. Раскрылись их сердца, крепко связанные с устоями отцовской жизни... Гордо расхаживали около потухавшей уже елки самоедские дети, живо резвились остяки. Своим природным говором они будто хотели доказать русским гостям, что, обученные по-русски, все же остались самоедами и остяками, остались самими собой, верными заветам своих отцов и дедов.

Стоя в стороне, я наблюдал при разборе елки интересные картины. Родители инородческих детей, осматривая елочные украшения, обращали особое внимание на разных кукол. Перед одной из них, изображавшей Дедушку Мороза, некоторые низко кланялись, произнося приветственные слова. В публике начал было раздаваться смех, но я

остановил его, привлек внимание инородческих детей на их родителей. Детишки с важностью стали разяснять своим отцам, что эти куклы - простые игрушки, не имеющие никакой магической силы, что им не следует поклоняться, что предназначены они для забавы маленьких детей. Старцы сначала полуудивленно и недоверчиво слушали своих детей, а потом, убежденные ими, стали ласково смотреть на свою детвору, успевшую публично доказать, что, учась грамоте и живя русской жизнью, они все-таки инородцы, любящие все свое родное. Родители, остяки и самоеды, довольные всем виденным и слышанным, не скрывали своего восхищения и высказывали, что такое учение их детей хорошо и полезно. «Ребятишки, - говорили они, - сделались похожими на русских, а остались самоедами и остяками...»

Меня кто-то тронул за плечо. Обернувшись, я увидел самоеда, у которого гостил год тому назад после ночевки у елки в тундре.

- Здравствуй, друг, - приветствовал я его. - Спасибо, что зашел на детский праздник, вспомнил мое приглашение. Да, кстати, привел ли ты сюда свою жену и девочек?

- Нет, друг, я попал сюда один; баба с детьми уехала в тундру.

- Напрасно, - ответил я.

- Я и сам жалею, что отпустил их домой. В тундре ничего такого не встретишь, - промолвил самоед.

Я же в этот момент, под впечатлением ответа, вспомнил елку в тундре, под которой ночевал. В моей голове вихрем пронеслись воспоминания о ней, красивой, осыпанной драгоценными камнями... Вспомнилась чарующая, тихая, лунная ночь, сделавшая простенькую елочку такой волшебной-нарядной и незабываемой, наведшей меня на мысль устройства детских елок для инородческих детей в Обдорске. А самоед, прерывая мои воспоминания, начал расхваливать моих учеников-инородцев, утверждая, что толк из них будет.

- Наши ребята у тебя нашими и остаются. И отдавать тебе ребятишек теперь не страшно.

- А продашь мне за калым своих девочек? - шутливо спросил я.

- Продам, но сойдемся ли в цене?

- Ну, ладно, после поговорим об этом, - сказал я, рассмеявшись. Рассмеялся и мой собеседник, много дивившийся всей обстановке детской елки и многочисленному собранию гостей. Я же невольно сравнивал чудную елку в тундре с этой пародией на нее. Торжественную тишину лунной ночи в тундре с теперешним шумным разговором взрослых и детей... И, отдавая предпочтение первым, не мог в то же время не сознаться, что елочная мишура только что погасшей елки, производя впечатление на детей-инородцев, сильно влияла в их пользу на обдорских обывателей, а их восторги - на родителей из остяков и самоедов, радостные чувства которых от этого сливались с неудержимым весельем детей. И елка, маленькая рождественская елка, сделала чудо, неосуществимое с помощью лучшего красноречия. Значение елки как детского праздника для инородческой детворы росло в моем воображении. В мыслях же инородцев стало повышаться значение обучения детей грамотности, которая не только не отбирает у них охоту жить отцовской жизнью, но самую эту жизнь, горькую и радостную, тяжелую и легкую, делает в их сознании привлекательной и дорогой.

- Ты хорошо учишь наших ребятишек, - говорили мне довольные отцы инородцев, а я, пожимая им руки, продолжал вспоминать свой ночлег под елкой в тундре и саму елочку, разукрашенную снегом, чудный вид которой в предрождественскую ночь надоумил меня устраивать елки для инородческих детей...

Часть 17. У ворожея

Тихим, темным вечером я выехал в недалекие от Обдорска юрты к знакомому остяку-ворожею Неуме. Мне хотелось посмотреть ворожбу на сабле (сабля в религиозных обрядах и церемониях обдорских остяков играет большую роль. На ней ворожат. Во время знаменитых «плясок», совершающихся периодически, остяки совершают их с саблями в руках. Сабли бывают по форме разнообразны. Большею частью солдатские от старых до новейших образцов включительно), послушать речения известного среди окружающих остяком шамана. Хотелось по душам потолковать с ним. Хотелось пополнить свои познания неведомого у нас шаманского культа, возросшего в тиши остяцкой жизни, сокровенной в религиозном отношении, как сама загадочная Обдорская тундра. Хотелось, если удастся, сделать кое-какие приобретения для нашего Обдорского музея. Хотелось... да мало ли что еще хотелось...

Ехал я не один. Моими спутниками были командированный в Обдорск Русским музеем Императора Александра III антрополог С. И. Р. и толмач К., неизменный мой спутник, куда бы и с какими бы целями я ни ехал в тундру. Ехали мы на собственных лошадях, без провожатых, ехали осторожно и медленно, боясь сбиться с едва заметной дороги-тропинки и напрасно проплутать на стуже 25-градусного мороза. Кто о чем думал во время этого пути через занесенные снегом обрывы и перевалы, между тощими елочками, кривыми лиственницами и разными, едва возвышавшимися над снежной пеленой кустарниками. Мои мысли вертелись возле избушки ворожея, чуть не 80-летнего старца, порог избушки которого я много раз переступал, тщетно стараясь все в ней увидеть, внимательно рассмотреть... В ней так много должно было быть интересного. Ее хозяин, шаман, посредник между людьми и «духами», был обладателем всех необходимых вещей и атрибутов для этих сношений. Но все интересовавшие меня предметы всегда лежали под спудом и были для меня невидимы.

Шаман не решался показывать их мне по присущему у остяков недоверию решительно ко всем посторонним. На этот раз я надеялся кое-что увидеть, кое с чем ознакомиться. Шаман обещал мне это. Но я немало опасался, что данное в Обдорске обещание уже забылось, что мнительность шамана возьмет верх, и мое путешествие примет форму пустой и глупой по потрате времени прогулки...

После двухчасовой езды с юго-востока потянуло запахом остяцкого жилья. Мы были недалеко от избушки шамана, самое большее в двух или трех верстах. Скоро действительно приехали. Неглубокая, поросшая редким леском ложбина, вся закрытая под белым покровом снега, была местом таинственной избы. Самую избушку с трудом можно было отыскать, так глубоко она была засыпана снегом. И если бы не вылетающие из маленькой трубы искры, мы могли бы ее легко проглядеть и проехать в поисках дальше.

Привязав лошадей и задав им корм, мы все вместе вошли в избу сквозь небольшие, аршина полтора высотой двери. Нас обдало вонючим юрточным запахом. Жена ворожея, такая же старуха, как и он сам, что-то мешала в подвешенном над огнем чувала котле. Их воспитанница, остяцкая сиротка, девочка лет пятнадцати, при тусклом освещении нагоревшей сальной свечи сшивала лоскутки оленьих шкур, расположившись со своей работой прямо на холодном и грязном полу. Старик-шаман спал, растянувшись в правом от входных дверей переднем углу.

- Узя логосна - здравствуй, подруга, - приветствовали мы старуху.

- Узя, узя, - отвечала нам старая, не поинтересовавшаяся даже взглянуть на нас, пришельцев, нарушивших вечерний ее покой. Мы, пройдя вперед, уселись с остяцкой бесцеремонностью на нары, вынули из ящика привезенные с собой стеариновые свечи и письменные принадлежности, не мудрствуя лукаво, принялись за операцию пробуждения шамана. Занимались этим как более знакомые мой толмач К. и я. Мы долго теребили остяка, от которого несло спиртом, как из бутылки, и начали уже терять всякую надежду добиться пробуждения своего «друга».

- Поди, твой муж пьяный улегся? - спросил толмач начавшую ворчать на нас старуху.

- Неделю пил, думала сдохнет, теперь другой день спит, не жрет ничего. Стонет и кричит во сне. Водки просит, как просыпается...

- Ничего, поправим твоего мужа, дадим ему опохмелиться, - сказал толмач. Тут и старуха принялась будить своего мужа, крича на него и тормоша его так сильно, что нам пришлось отойти. На все выкрики жены старик-шаман отвечал самым уморительным рычанием, потом, побрякивая, начал протирать прегрязными руками свои постоянно слезящиеся глаза (у остяков от постоянного дыма в юртах и чумах редко не слезятся глаза. Болезни глаз у них наиболее всего развиты). Наконец, с трудом приподнявшись, уселся. С его плеч спала обтрепанная ягушка (род халата) и обнаружилось старческое тело (остяки и самоеды нижнего белья не носят. И благо им. Они никогда не моются в бане. Их меховые одежды мехом внутрь обчищают с тела грязь).

- Ой, беда, голова болит, холодно шибко, - проворчал он.

- Как не будет болеть голова, - сказал я, - хозяйка говорит, ты целую неделю пьянствовал.

- Пьянствовал, батюшка, пьянствовал. Люди пили, и я пил. Чем хуже других. Тоже человек. Ой беда, ой беда, голова болит.

Мы поднесли ему подряд три рюмки коньяку. Он, не поморщившись, выпил их и попросил еще. Немного погодя мы удовлетворили его просьбу только уже наполовину меньшей дозой. Старик-шаман с полчаса кряхтел и охал от головной боли, не будучи в состоянии поддерживать разговор. Мы, сидя без всякого дела и скучая, пили приготовленный нам старухой чай. Пригласили и ее в компанию. Она, словно нехотя, согласилась. Начали разговор со старухой самый обыденный. Она не стала бы удовлетворять наше любопытство по интересовавшим нас религиозным вопросам. «Вер андам, - дела нет», - отвечала бы она нам, если бы мы сделали попытку о чем-либо ее расспрашивать. Зато мы с живым интересом наблюдали старуху: прищурился глаза и вытянув вперед губы, пившую с заметным удовольствием чай и с присвистыванием сосавшую кусочек сахара. Ее сморщенное лицо, белые, седые на редкость у остяков волосы свидетельствовали, что много десятков лет она живет на свете, много пережила и перестрадала в условиях тяжелой остяцкой жизни.

- Сколько тебе лет? - спросил ее кто-то из нас.

- А кто их считал, - в тон отвечала старуха. - Родилась, живу, смерть не приходит. Бог терпит меня, шайтан не съест.

- О, бабе моей, Татьяне Ивановне, восемьдесят лет, - вдруг заговорил старый шаман. - Мне, Николаю Ивановичу, восемьдесят два года, а ей восемьдесят лет, восемьдесят. Я знаю, на то я и Николай Иванович, вот что.

- Хорошо, Николай Иванович, а какое сегодня число?

- Двадцать пятое.

- Какой месяц?

- Ноябрь.

- До Николина дня сколько осталось?

- В ноябре пять дней и в декабре пять дней. Значит, десять дней до Николина дня.

О, Никола, - большой бог, шибко большой бог, людям помогает, остяка жалеет.

- Друг, вот ты Николу, угодника Божия, считаешь большим богом, веришь ему, а сам шаманишь и ворожкой занимаешься. Это нехорошо.

- Ну, меня Никола терпит, позволяет мне. Я ворожу вправду. Хочешь послушать и посмотреть?

- Хорошо. За этим и приехали мы к тебе. Надо посмотреть и послушать, как ты своим ремеслом морочишь людей.

- Я-то?

- Ты, - отвечал я.

- Ну, ладно, ладно. Посмотришь, что духи говорить будут, - сказал старик, лениво поднимаясь, чтобы снять с гвоздя на стене свою чудодейственную саблю.

Мы все поспешно оставили свое чаепитие и перебрались в другой угол юрты, поближе к ворожею. Он уже сидел на нарах, осматривая свою саблю, завернутую в красное сукно и перетянутую золоченым позументом. Ручка от сабли будто военного происхождения была отломана. Ближе к месту бывшего нахождения ручки был прицеплен на кожаном шнурке медный колокольчик. Немного дальше привязаны мелкие серебряные монеты. Но совершенно посередине, с расчетом на равновесие сабли, была привязана к ней красная веревочка, на которую привешивается сабля во время ворожбы.

Подробно осмотрев со всех сторон свою саблю, ворожей воткнул в отверстие, нарочито сделанное в поперечной доске нар, палочку, около пол- аршина длиной, принявшую наклонное положение в сторону нар. Аккуратно привесил к свободному концу палочки саблю таким образом, что острие ее пришлось к левой руке его. Попридержав обеими руками саблю, установил ее равновесие, вздохнул, взглянул своим мутным взором вверх юрты, перевел взгляд на самую саблю, приподнял свои руки к верхней стороне ее и, едва касаясь концами своих пальцев сабли, стал смотреть на нее так пристально, насколько позволяли ему это делать его старческие глаза. Минуту он почти не дышал, так спокойно было его лицо и неподвижна грудь. Послышался легкий вздох старца-ворожее, его губы прошептали что-то непонятное, глаза устремились вверх, голова повернулась влево, раздался глубокий вздох. Опять тихо-тихо прошептали что-то его губы, голова приняла прежнее прямое положение, взор упал на саблю, весь корпус старца стал безжизненным, не стало слышно его легкого грудного дыхания. Настала минута мертвой тишины, вместе с ворожеем будто перестали дышать и мы.

Последовал глубокий вздох ворожее, его корпус откатнулся назад, вперед, опять обратно. Зашептали губы, взор поднялся вверх, лицо повернулось влево, снова раздался вздох полной грудью, зашевелились губы, шепча какие-то заклинания. Голова приняла прямое положение, закачалось старческое тело, раздался легкий звон колокольчика на сабле. Полминуты старец смотрел вверх, потом обвел помутившимися глазами всех нас и, ни на кого не глядя, спокойно заявил:

- Духи говорят, что у остяков шайтанов отнимать нельзя, а покупать за деньги можно.

Началась прежняя история ворожбы, последовало новое вещание старика:

- Духи заявляют, что остяков в солдаты брать не будут. - Опять гадание и, как следствие его, ответ:

- Сказывают духи, что остяки свободно могут держать свою шаманскую веру. - Новое гадание, новый ответ:

- Весною будет шибко большая вода (нечто вроде наводнения).

- Ну, еще поворожу, - вдруг заявил, видимо, утомившийся шаман. Окончательным вещанием духов последовало объявление большой войны.

Заохал старик, расправляя свои старые кости, застонал, закашлял и попросил дать рюмочку. Ему дали. Выпил залпом, сплюнул и стал бережно убирать свою священную саблю. Мой спутник попросил шамана продать ему эту саблю. Сначала, как всегда это бывает, последовал отказ. Мы напомнили старцу, что духи позволили продавать шайтанов. Он несколько замялся, потом поупрямился, потом согласился на продажу. Сабля была куплена, уплачены потребованные три рубля, нам больше ничего не оставалось делать. Толковать с шаманом относительно мудрости ответов духов никому не хотелось и, наскоро собравшись, мы поехали в Обдорск обратно. Наши лошадки, почувствовав возвращение домой, быстро побежали вперед, теперь ими почти не приходилось управлять. Они знали, куда ехали, - домой, где сытно будут накормлены и вполне отдохнут. Темень стояла прежняя. Неприятна езда в такое время. Лучше, конечно, в это время дремать. Но можно ли было кому-либо из нас забыть. Каждый ехал со своими думами о ворожее и ворожбе его. Я старался вникнуть в смысл его предсказаний,

понять, чем они были обоснованы. Стал приходить к ряду выводов, с которыми намерен был поделиться со своими спутниками. Вдалеке показались огоньки. Они стали приближаться к нам и приближаться. В их отблесках видны стали черные силуэты каких-то домов и построек... Близок Обдорск... Вскоре въехали мы в одну из лучших его улиц и добрались до своих домов.

Переодевшись, я пошел к своему спутнику Р. - поделиться с ним своими впечатлениями. Они оказались у нас одинаковы: с виду простой остяк-шаман - умный плут, не теряющийся даже с перепоя. Его мудрое речение, что у остяков нельзя силою отнимать шайтанов, а покупать за деньги можно, было прямым намеком нам обоим, собирающим предметы шаманского культа. «Не делайте, - как бы так вещали ему духи, - того, что только истекшим летом делал член одной ученой экспедиции, озлобивший против себя и других многих, в том числе и вас, остяков и самоедов. Не преступайте законов, дарованных всем гражданам Российской Империи о веротерпимости и свободе совести. Остяки не будут отбывать воинской повинности, - говорили потом заклинателю духи, - напрасно толкуют у нас в тундрах русские и зыряне о войне какой-то, напрасно и вы (по адресу моего ученого спутника) стараетесь измерять рост остяков и их сложение (мой спутник производил антропометрические измерения инородцев Обдорского края), их все равно в солдаты брать не станут, так как они этого не хотят. Остяки свободны в своей вере (по моему адресу), не претендуйте на скорость обращения их в христианство. Будет большая вода», - вещали устами ворожея духи. О предстоящей большой воде весной все мы слышали на основании атмосферных явлений осенью по наблюдениям старожилов. «Будет большая война». - Как и не быть ей по логике шамана, если хотят брать в солдаты остяков, чего до сих пор не практиковалось. Так просты оказались вещания духов через ворожея, ворожея среди остяков чтимого и уважаемого. Мы много смеялись над предсказаниями и перед расставанием друг с другом порешили еще вместе съездить куда-либо к остякам, чтобы проникнуть опять в новое для нас их святая-святых...

Часть 18.Самоедская свадьба

Тихим, ясным и морозным утром в парадную дверь моей квартиры раздавался необычно энергичный стук. Я не хотел подыматься с дивана, на котором уснул за работой очень поздно. Я думал, что посетитель, ограничась минутным стуком, оставит меня в покое и для посещения выберет другое, более удобное время. Но стук раздавался снова и снова. Удары в дверь стали сильнее и сильнее. С первого удара в дверь я уже знал, что стучится какой-нибудь инородец, так как все обыватели Обдорска знакомы с моим единственным в селе электрическим звонком. «Вероятно, важное дело у посетителя», - подумалось мне. Инородцы большей частью приходят со своими толмачами. Теперешний посетитель без переводчика. Я быстро встал с дивана и под быстрый и резкий стук гостя отправился открывать двери. Загремел дверной засов, открылась дверь, и в нее быстро прошмыгнули двое самоедов. Пропустив их из передней в зал, я тотчас же спросил о причине раннего посещения меня.

- К тебе, поп, большое дело, - отвечал мне здоровый молодой самоед.

- Какое?

- Креститься хочу,

- Что же, хорошо, крещу, когда выучишь то, что знать надлежит всякому крещеному человеку.

- А сейчас крестить нельзя?

- Может, слышал, что не крестим сразу, что учим сначала, как крещеному жить должно.

- Слышал, но ты покрести меня сейчас и повенчай, Я украл бабу. Она со мной ушла от отца. Теперь за нами погоня, поймают, так отберут у меня ее, а она все равно за другого не хочет идти.

Я, усмехнувшись, пошел запереть двери и, вернувшись обратно, успокоил молодых.

- К нам никто не придет. Теперь двери заперты. Расскажите, в чем дело.

Девушка отвернулась от меня и своего жениха и стала смотреть в окно, а самоед поведал мне редкий в самоедских летописях рассказ о том, как встретился он с нею, как взаимно друг друга полюбили, решили пожениться. Отец и брат невесты были против этого брака, так как за дочь и сестру их сватался более зажиточный самоед. Что с него, отверженного жениха, потребовали такой калым за невесту, какой мог разорить его... Что единственным средством для него осталось покреститься и повенчаться, потому что за крещеных стоит «большой» поп, ты.

За десятилетнюю мою службу в Обдорске это был второй случай подобного обращения ко мне самоеда. Я сказал ему:

- Друг, ты знаешь, что мы крестим тех только, кто хочет соблюдать и хранить веру христианскую. Мы не крестим тех, кто хочет принять крещение не по вере в Бога истинного, а по иным побуждениям. Поэтому крестить тебя я не могу.... Да крещеная ли еще твоя невеста?

- Она христианка, покрести и меня, за мной погоня... Скорей...

Я смотрел на огорченное и молившее меня лицо самоеда и думал... думал о том, сколь тяжела жизнь каждого из его соотечичей. Капризы суровой полярной природы, капризы отеческих преданий, капризы своевольных родителей и стариков, - все это должно тяжко отражаться на духовном и физическом развитии каждого самоеда. Отказать самоеду в крещении его ради женитьбы стало казаться мне невозможным. Это был такой редкий случай обращения с подобной просьбой, что должен был обратить общее внимание инородческого населения. Акт повенчания должен был указать этому населению на юридическое значение церковного брака для христиан, не имеющих никакого отношения к языческим традициям самоедов. Я решился. Дал самоеду согласие с условием, что он проживет в Обдорске ради оглашения не меньше двух недель

- Где же я буду жить, где скрою свою невесту на а то время?

- Есть у тебя знакомые?

- Много, но все они в хороших отношениях с братом и отцом невесты. Выдадут. У них не укроешься,

- Вот тебе совет, - сказал я. - Пойди к моему толмачу Ганьке и передай ему, что я прошу его укрыть твою невесту на время твоего научения вере христианской.

- Да у него останавливается ее брат, когда приезжает в Обдорск!

- Тем безопаснее для нее, - ответил я. - У Ганьки не станет он ее искать, и ты с ней легче там будешь видаться.

Самоед пошел со своей невестой к моему толмачу, а минут пять спустя ко мне явился сам брат невесты, старшина Н. со своим переводчиком.

- Была у тебя моя сестра с самоедом? - спросил он, входя в комнату.

- Были, - ответил я. - Недавно ушли.

- Повенчал их?

- Как же я могу повенчать их, когда жених не крещеный. Конечно, я отказал ему, пока не покрестится.

- А когда будешь его крестить?

- Когда научится всему тому, что надлежит знать христианину.

- Куда они ушли?

- Не знаю, - смеясь сказал я.

- Вот ты смеешься, они у тебя?.. Свою сестру за него не отдам, а за то, что он выкрал ее у моего отца, я буду его судить.

- Друг, - возразил я, - ты не будешь судить жениха твоей сестры, это я устрою. Если по твоей жалобе будут его судить, то другие старшины, например Яр, Тайшин... За жениха твоей сестры отвечать буду я. Он здесь, в Обдорске. Ты, может быть, хочешь его видеть?

Я пошлю его к тебе. Ты у Ганьки остановился? Я с Ганькой буду учить его христианской вере и жизни. Он хочет креститься. И если после крещения придет ко мне со своей невестой, чтобы повенчать его, то повенчаю. Увези свою сестру в тундру до церковного брака.

- А где она? - спросил старшина Н.

- Ну, это я не могу тебе сказать. Ты сам знаешь, что если кому-либо поверять тайну, то она не должна быть выдаваема никому.

- А моя сестра в Обдорске?

- В Обдорске.

- Не у тебя спрятана?

- Друг, зачем же я стану ее прятать у себя. Это дело твоего жениха.

Старшина ушел искать свою сестру, а я послал одного из инородческих детей за своим толмачом К... Толмач сообщил мне, что невесту поместил у себя в квартире, и жених может быть вполне уверен, что ее не отыщут. Вместе с тем он рассказал мне несколько подробностей этого сватовства.

Отец и брат хотели отдать невесту в замужество за очень богатого самоеда. Невеста не захотела идти за него, так как тайком от старшин высмотрела себе другого жениха, не столь богатого, но все-таки вполне обеспеченного кочевника с тысячным стадом оленей. Нежелание невесты идти за выбранного для нее жениха удивило ее отца и брата. Оно шло вразрез с отеческими традициями. Чтобы настоять на своем, они посватавшемуся любимому девушкой жениху предложили уплатить за невесту непосильный для него калым, потребовав: 300 рублей деньгами, 200 важенок (оленьих самок), 50 быков (олень-самцов), 40 песцов, 5 чернобурых лисы, 2 лисицы красных, лисицы крестоватиков (сиводушки), 10 сажений сукна тонкого, 2 больших медных котла и разных мелочей рублей на 200. Оценивая важенку по 10 рублей за штуку, за них жениху нужно было выплатить 2000 р., оценивая каждого быка по 15 р., за быков надо было уплатить 750 р., за 40 песцов - 40 р., за черно-бурых лисицы - 600 р., 2 лисицы красных - 30 р., 2 сиводушки 50 р., 10 сажений сукна - 72 р., 2 медных котла - 30 р., всего калыма на сумму 4432 рубля, т.е. половину состояния жениха. Жених от калыма не отказывался, но просил сбавки, ему наотрез отказали.

В течение двухнедельного оглашения жениха-самоеда, его раза три требовали старшины в инородную управу для опросов и суда над ним. Спрашивали, где его невеста, каким правом руководствовался он, увозя невесту из родительского дома без разрешения отца ее и старшего брата. Он неуклонно отвечал незнанием местопребывания невесты и увоз ее отрицал. Ко мне многократно, не в пример обычным посещениям, заходили в гости самоеды-соглядатаи, рассчитывая что-либо выведать. Была поднята старшиной на ноги и полиция. Подозрение, что увез или прикончил ее жизнь, было на ее женихе, готовящемся к святому крещению. Я взял его на поруку до присоединения к святой церкви. По Обдорску ходили разные нелепые слухи.

Настал день крещения. В три часа утра, когда весь Обдорск еще спал, в миссионерском храме был крещен злополучный жених и повенчан с любимой им девушкой-самоедкой. Во время ранней литургии новобрачные были причащены святому таинству. После чего пили у меня чай. В 9 или 10 часов утра они в моем сопровождении с метрической выписью об их бракосочетании явились к местному приставу и просили его оказать им содействие, чтобы самоеды оставили их в покое, так как их брак был учинен на законном для христиан основании: ему, молодому, было двадцать пять лет и его супруге двадцать два года. Оба они могли располагать собой по своим намерениям и желаниям. Если родители молодой требуют калым на основании обычного права инородцев, то пускай согласуют свои требования с их правами, которыми пользуются в этом случае христиане. Пускай согласуют свое обычное право с Манифестом 17 октября 1905 года о свободе личности... О нахождении невесты было дано знать в инородную управу вместе с сообщением о бракосочетании ее с отвергнутым родителями невесты женихом.

Второй визит в этот день мне нанес брат только что повенчанной самоедки. Старшина Н. пришел хмурый и недовольный.

- Зачем ты повенчал мою сестру? - сурово спросил он.

- А если бы ты пришел ко мне с просьбой повенчать тебя, а я тебя прогнал бы, что ты сказал бы мне тогда?

Старшина Н. промолчал. Минут пять длилось общее молчание. Его прервал самоед вопросом:

- Как будет дальше с получением калыма?

- Этот вопрос, - ответил я, - зависит от ваших юридических обычаев, но конечно, в согласии с дарованными Высочайшею Волею Царя свободами гражданам русской земли. Свою же сестру ты лишен права отобрать у ее мужа

Старшина Н. ушел. Часов пять спустя ко мне заявили молодые. Жених взволнованно рассказал, что старшины присудили с него штраф в 300 рублей в пользу того самоеда, которому родители его невесты обещали ее руку. Я, успокоив его, написал официальную бумагу обдорскому приставу, в которой попросил его отменить приговор старшин как несогласный с правом совершеннолетней невесты вступать в брак с избранным ею женихом. Приговор, конечно, был отменен. Новобрачные свободно уехали в тундру, в свои кочевья, в чум молодого мужа. Дней пять спустя, когда я почти уже успел забыть этот редкий случай самоедской свадьбы, ко мне вновь заявился обвенчанный мной самоед.

- Беда стряслась, поп.

- Какая? - спрашиваю.

- Бабу отобрали.

- Кто?

- Отец ее.

- Каким образом?

- Зазвал меня в гости. Я приехал к нему с братом. Стали толковать о калыме. Я сказал, что платить калым не отказываюсь, но такой большой, как с меня требовали, не могу. Отец моей жены сказал: «Покончим это дело. Ты уплатишь мне за дочь двести руб. и только. У меня было с собою семьдесят руб. и у брата моего пятьдесят. И я отдал ему сто рублей, взяв займы у брата тридцать рублей. Остальные сто рублей обещал старику доставить через день. «Ты с деньгами и жену свою, мою дочь, привези погостить ко мне». Я обещал. На другой день обещание исполнил. Привез деньги и жену. Старик, взяв деньги, сказал мне: «Теперь убирайся от меня и свою жену получишь тогда только, когда уплатишь весь калым полностью». Я уходить не захотел и меня выгнали. Вот я и приехал к тебе. Твое дело помочь мне вернуть мою жену. Ты меня венчал и говорил, что у меня отобрать ее не смеют.

Пришлось идти к приставу. Пристав попросил меня дать для этого дела в его распоряжение моего толмача К. Я, конечно, дал. Мой толмач К., облеченный властью полиции, поехал вместе с самоедом в чум родителя его жены за ней и ее отцом. Через два дня все они явились в Обдорск. Отцу молодой самоедки было сделано надлежащее внушение - не отбирать у молодого самоеда его жены. Относительно калыма было рекомендовано ему обратиться в инородную управу к старшинам.

Старшины никак не могли миром окончить этот вопрос. У самоеда нельзя было отобрать его молодую жену, а ее муж упорно отказывался платить большой, непосильный ему калым. Несколько дней судили и рядили об этом старшины. Выведенный из себя пристав пришел ко мне с просьбой уладить это дело каким-либо частным путем. Я послал за толмачом К.

- Можно как-нибудь помирить самоедов в этом спорном деле? - спросил его.

- Почему нельзя? Конечно, можно.

- Возьмете это на себя?

- Почему не взять, возьму.

- Возьмите.

- Ладно.

Дня два спустя пришел ко мне с докладом толмач.

- Дело улажено.

- На каких основаниях?

- На самых простых. Молодые, обвенчанные вами самоеды, отец и брат молодой, я и старшина Яр собрались вместе и стали обсуждать вопрос о примирении. Выпили пять ведер водки и решили, что не следует у молодого самоеда брать ничего больше, кроме отданных им родителю его жены двухсот рублей.

- А кто платил за водку?

- Да все по очереди. И на мой пай пришлось уплатить за две бутылки.

Я, рассмеявшись, отдал ему израсходованный им один рубль, послал за становым приставом, чтобы сообщить ему об окончании этого матримониального дела.

Часть 19. Зимой в тундре

Я люблю зимние путешествия по тундре. Но предпочитаю совершение их в ноябре и декабре. Тогда тундра красивее. Северные сияния и очаровательная луна длинными полярными ночами одарят такими дивными картинами, что забываешь порой о трескучем морозе. Не чувствуешь, что мерзнет нос и леденеют щеки. Не осознаешь опасности сильно ознобиться, если не будет найден самоедский чум, где можно обогреться и отдохнуть, чтобы со свежими силами ехать дальше вперед по бесконечной снежной пелене необъятной тундры. В эти месяцы тундра бывает оживлена. По ней снуют и днем и ночью кочевники-инородцы. Они своим присутствием ослабляют мертвящую жуть таинственной и волшебной по ландшафтам тундры глубокой зимой. Чувствуется тогда жизнь в скованной морозом тундре. Жизнь сказочная, но реальная. Подгоняемые жестоким холодом олени несутся вперед вихрем, будто спеша скорее добраться до тепла. Одетый в непроницаемые ни для какого мороза и ветра инородческие одежды, невольно любишься их бегом. Смотришь вперед и в стороны открытой для взора на десятки верст ровной тундры... С восхищением галдишь на волнообразную поверхность ее, иногда совершенно чистую, иногда слабо покрытую леском или едва виднеющимся из-под глубокого снега кустарником, кривым и тощим... Восторгаешься глубокими спусками в реки и озера, крутыми подъемами на горы... Тогда всматриваешься в даль, надеясь на новые виды задумчивой тундры... Будто одни и те же, они всегда дышат неподдающейся описанию новизной. Скорее чувствуешь, чем видишь это. Щемящее состояние души сменяется на радостное, веселое, мирное, спокойное... Быстрый полет мысли неожиданно становится слабым или так же быстро наоборот... Иногда мысль вовсе перестает работать. Бодрствуя, перестаешь мыслить и тогда осознаешь себя только чувством. Порой эти виды так холодят душу, что становится страшно, иной же рал начинаешь сознавать себя владыкой этой грозной тундры...

И чего только не переживаешь под впечатлениями от картин величавой зимой красавицы-тундры... А когда засветится на небе спокойная луна, замигают маленькие звезды, тундра преображается. О, какой величественной она тогда становится! То кажется спокойной, как сам месяц, то под воздействием его мягких лучей будто вся заиграет, заколышется... Белоснежная пелена ее заискрится миллионами фосфорических огоньков, исчезающих и появляющихся вновь, - трепещущих, легких, нежных, - притягивающих взор и манящих. Тогда делаешься совершенно нечувствительным к морозу, вливаешься глазами в поверхность будто одухотворенной тундры, хочешь запечатлеть в себе эту чудную картину, ежесекундно меняющуюся, чтобы одарить новыми видами, еще более красивыми и волшебными... Без усталости любишься освещенной лунными лучами тундрой, - претит мысль, что луна может скрыться, может исчезнуть это дивное видение.

Обращаешь свой взгляд на полный месяц. Окруженный громадным кольцом из несколько мутных цветов спектра, он торжественно-спокойно начинает обливаться своими нежными лучами. Видишь, как они льются на тебя, ощущаешь их прикосновение, - не хочется теперь отрывать от него глаз. Он вместе с обдающими лицо мягкими лучами шлет часть своего покоя. Он проникает в глубины сердца, и на душе становится легко и мирно. С восторгом глядишь на месяц, будто улыбающийся тебе, начинающий смеяться и шевелиться... Заискрились спокойные лучи месяца в гуще морозного воздуха. Будто ожил сам воздух. Мириады искорок от лунного света заиграли в нем... Затрепетали и земля, и небо. Искорки стали светиться самыми нежными, переливающимися цветами, то бледными, то яркими, то чуть уловимыми, то больно режущими глаза... Начинает обдавать все существо чем-то чарующе-таинственным, волшебным... Чувствуешь себя в неизмеримо глубокой дали от действительного мира, в сказочном царстве. Не сон ли это? Жмуришь глаза и стараешься забыться...

Начинаешь опять смотреть и видишь те же с небольшими вариациями картины, переживаешь старые чувства... А месяц, словно подсмеиваясь, колышется... Визгливый скрип полозьев нарты и глухой топот теперь бегущих ровной рысцой оленей кажутся отголоском его добродушного смеха. И смотришь во все глаза на луну и ее чудные, обвораживающие и землю, и самый воздух лучи... Смотришь с чувством неподдельного восторга. И начинает казаться, что ты не зритель этого видения, а сам часть его и так же блистешь разноцветными огоньками и трепещешь, как вся природа. Глазам становится больно, закрываешь их с твердым решением больше не смотреть и с намерением разобраться в чувствах... Мысли путаются, мозги отказываются работать. Кажется, что не вперед по гладкой поверхности тундры скользит нарта, а ровно опускается вниз, в какую-то бездну. Глаза закрываешь крепче, падение ощущаешь сильнее и резче. Проносится мысль: скоро ли будет **конец** этой неведомой бездны и. не дождавшись окончания этого жуткого чувства, открываешь глаза, чтобы воочию убедиться, катится ли нарта вниз, в глубь оврага, или нет.

Открытый взор невольно, вопреки велениям воли посмотреть на характер движения нарты, обращается к луне. А она теперь спокойно, будто с удивлением смотрит на тебя, и от ее пронизывающих лучей веет могильным холодом и морозом... Только что виденные картины исчезли и пережитые чувства сменяются страхом от этой морозной зимней ночи в тундре... Крепче затягиваешь треух своего гуся, оставляя самое малое в нем отверстие для рта и носа, и стараешься забыться. Забыть это много облегчает утомительную езду в тундре. И счастлив тот, кто легко может дремать в удобной нарте, во время движения колышущейся, как лодка в воде. Успокаиваешься и будто начинаешь забываться. Вот ничего больше не сознаешь, ни о чем не думаешь, будто спишь, не заснув... Сколько времени находишься в таком состоянии, тебе неведомо. Сколько бы еще пробыл в состоянии этой нирваны, если бы не толчок на ухабе, не знаешь...

Встревожено начинаешь распускать шнурки треуха, чтобы оглядеться. По лицу ударяет холод. Смотришь в стороны и всюду видишь одну снежную, освещаемую луной гладь. Бросаешь взор на луну, но не она теперь влечет внимание. Играет само тусклое, серенькое, полярное небо. Молочного цвета столбы северного сияния заходили по нему. Чудная картина! Совершенно забываешь о холоде, любуясь с открытым лицом этим дивным явлением природы. Внимательно следишь за мягким движением с места на место столбов сияния, но не можешь уловить ни исчезновений, ни новых появлений их. А они то удаляются, то плавно приближаются к тебе и в то же время далеки, далеки... Хочешь настичь их, войти в их сферу, легкую как воздух, чистую как снег, таинственную, как тундра.

Мысленно летишь к ним. Олени, будто чувствуя твое желание, бегут вперед вскачь. И дикая скачка продолжается долго-долго, так, по крайней мере, кажется. Но неустойчива она. Красота северного сияния заставляет забывать все: и усталость, и мороз,

и все неудобства, и невзгоды пути. Кажется, и дни, и ночи любовался бы без всякой усталости этим чудом северной природы, если бы оно не имело предела.

Сияние начало бледнеть и гаснуть. Вскоре и вовсе исчезло. Опять охватывает чувство нестерпимого холода и страшной жути. Пытаешься хорошенько укрыть лицо, но начинаешь обонять запах дыма - предвестник близости чумов кочевника-оленевода. Вдали показываются олени, видны становятся чумы, слышится уже собачий лай, раздается гнусавый говор самоедов...

Часть 20. Осенью в Обдорске

Двое суток я ожидал окончания бурана, успевшего крайне надоест за долгую и томительную осеннюю распутицу, оторвавшую полярный Обдорск от всякого общения с миром на два месяца. В эти скучные осенние дни чем только не приходилось заниматься. Ведь нужно же заполнять как-либо время, так как однородная работа делается такой скучной, противной, несносной. Особенно если в эти серенькие короткие дни идет дождь или снег, дует ветер. Тогда валится из рук книга, выпадает перо. Сои не приходит из-за приподнятого настроения духа. Идти в гости не хочется, так как заранее знаешь, кто о чем будет говорить. Слушать сказку про «белого бычка» ведь не улыбается. И вот ходишь по комнатам и фантазируешь, возмущаешься своими фантазиями, нелепыми и дикими, и чуть не плачешь. А ветер, ударяя в стены дома, будто дразнит тебя, своим порывистым хлопаньем по крыше приводит чуть не в бешенство.

И начинаешь тогда быстро-быстро ходить по комнатам, пока не закружится голова, не устанешь до невозможности и не заснешь самым беспокойным сном. Искусственный сон не в пользу. Начнут сниться сны еще больше дикие, чем фантазии наяву. Просыпаешься точно после кошмара. «Где я, сколько времени?» - мелькает в голове в момент просыпания. Первая мысль с головокружительной быстротой находит должный ответ: «В Обдорске, затерявшемся в диких тундрах Березовского края...» Вторая мысль заставляет призадуматься: «Определяй время не часами, а днями. Нечего экономить. Часы не сократят времени томительной осенней распутицы, ежегодного твоего испытания». И начинаешь тогда от бессилия стонать, благо один, и никто тебя не слышит. А продолжающийся буран стучит в оконные рамы, они дрожат, скрипят стекла их так тоскливо, что появляются у тебя на глазах слезы, будто от самого сильного горя... Вот-вот разрыдаешься...

Под ближайшим окном начинает слышаться резкий вой. Завыла собака, ей начинает вторить другая, третья... Как ни оглушительен свист ветра, как ни громки его удары в тонкие стены дома, как ни гремит от ветренных волн железная крыша, собачий вой, кажется, сильнее. Он в адском шуме бурана так режет слух, терзает сердце, что невольно выбегаешь на улицу, чтобы разогнать несносных псов. Они, несколько отбежав от дома, по возвращении твоём снова водворяются на старое место и, усевшись друг против друга, опять принимаются выть. И это завывание раздается теперь еще резче и во много крат сильнее действует и на без того взвинченные нервы. Зажимая руками уши, начинаешь ходить, вернее, бегать по комнате... Наконец псовый вой затихает. Делаешься немного спокойнее. Берешь серьезную книгу и... ничего в ней не понимаешь. Видишь одни буквы. Хватаешь один из последних номеров какого-то журнала и не можешь читать его... Кажется, будто ходят буквы и двигаются, словно дразня тебя.

Бросаешь журнал и хочешь приняться за письмо. Буран не дает возможности работать. И во что бы то ни стало, взяв чистый лист бумаги, пытаешься, как только возможно это, изложить на нем для себя только свое душевное состояние, свое горе, страдания, муки... После десяти строк этого письма, выжатых из души, совершенно незаметно для себя кладешь перо на стол, опираешь голову на руки и начинаешь плакать, как ребенок... В какие-нибудь пять минут в голове у тебя проходят все заслуживающие внимания события твоей долголетней мелочной жизни в Обдорске... И тогда задаешь себе

вопросы: «Для чего живешь в этой глуши, когда мог бы устроиться в другом, не таком гиблом месте». Вспоминаешь, что не одну уже тысячу раз давал себе обещание поменять место службы. И начинаешь вновь его давать, уверяя себя, что это последнее будет таким. Тогда немного успокаиваешься, бодрисься и... начинаешь, как безумец, думать, что ты уже живешь не здесь, а в другом месте, где нет буранов, коротка зима и, главное, другие люди... С этой сладкой мечтой, сидя за столом, начинаешь дремать, засыпаешь... Несмотря на неудобство положения, спишь крепко и просыпаешься, когда брезжит легкий свет осеннего утра.

В комнатах тихо. Буран утих ночью. Подходишь к окну и видишь огромные груды снега, который будет теперь долго лежать, пока майское солнце не обратит его в воду. О выходе из дома нечего и думать. И вот сидишь у себя, ходишь по комнатам до усталости, читаешь книги до потери способности мыслить, пишешь что-нибудь, пока не натрешь на пальцах мозолей. И так день за днем в тревожном ожидании такой заманчивой теперь, настоящей зимы.

Проходит слух, что стала Обь. Появляются в Обдорске предвестники зимы - кочевники-зыряне. Скоро придет почта. Забудутся все невзгоды, станет полнее жизнь... Доходит радостная весть о приходе первой зимней почты. С нетерпением ребенка ожидаешь окончания разбора ее в отделении. Наконец оно открылось. Идешь на почту за своей корреспонденцией сам. Разбираешь письма, газеты, журналы. Прочитав первые, судорожно хватаешься за газеты и начинаешь читать их, хотя по порядку, но не с первого номера, а с последнего... Скорее хочется узнать, что творится на свете...

Источник: «Православный благовестник», 1903 -1911гг.